

Уроки Европы Уроки Европы Уроки Европы Уроки Европы Уроки Европы

Мария Арбатова

Мария Арбатова Мария Арбатова Мария Арбатова Мария Арбатова



Уроки Европы

www.arbatova.ru

ЭКСПО

Rus 891.78 Arbatova
Arbatova, Mariia
Uroki Evropy :
2105669

DEC 21 2004

NY PUBLIC LIBRARY

THE BRANCH LIBRARIES



3 3333 18643 2890

WITH
May be used
The Branch Libraries of the
donated to other public ser

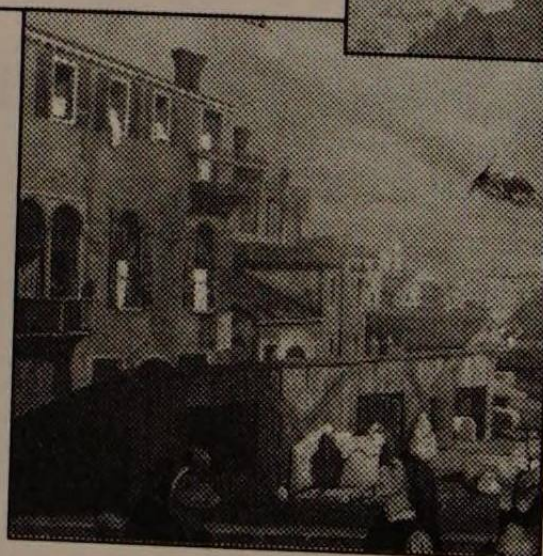
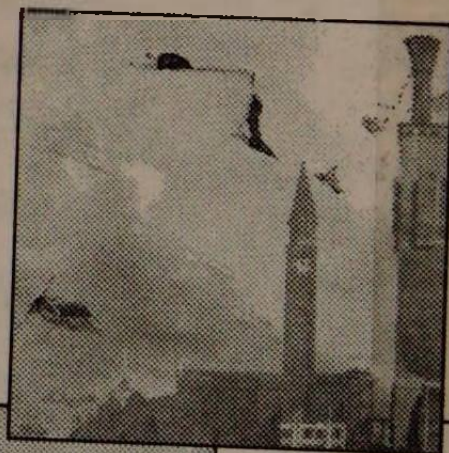
Мария Арбатова

Уроки Европы

•

В оформлении книги
использованы
портрет М. Арбатовой
и живописные полотна
художника

Никаса
Сафронова



Москва
ЭКСМО-ПРЕСС)
2 0 0 2

Мария Арбатова

Уроки Европы

2105669

Москва
ЭКСПО-ПРЕСС
2 0 0 2

УДК 882
ББК 84(2Рос-Рус)6-4
А 79

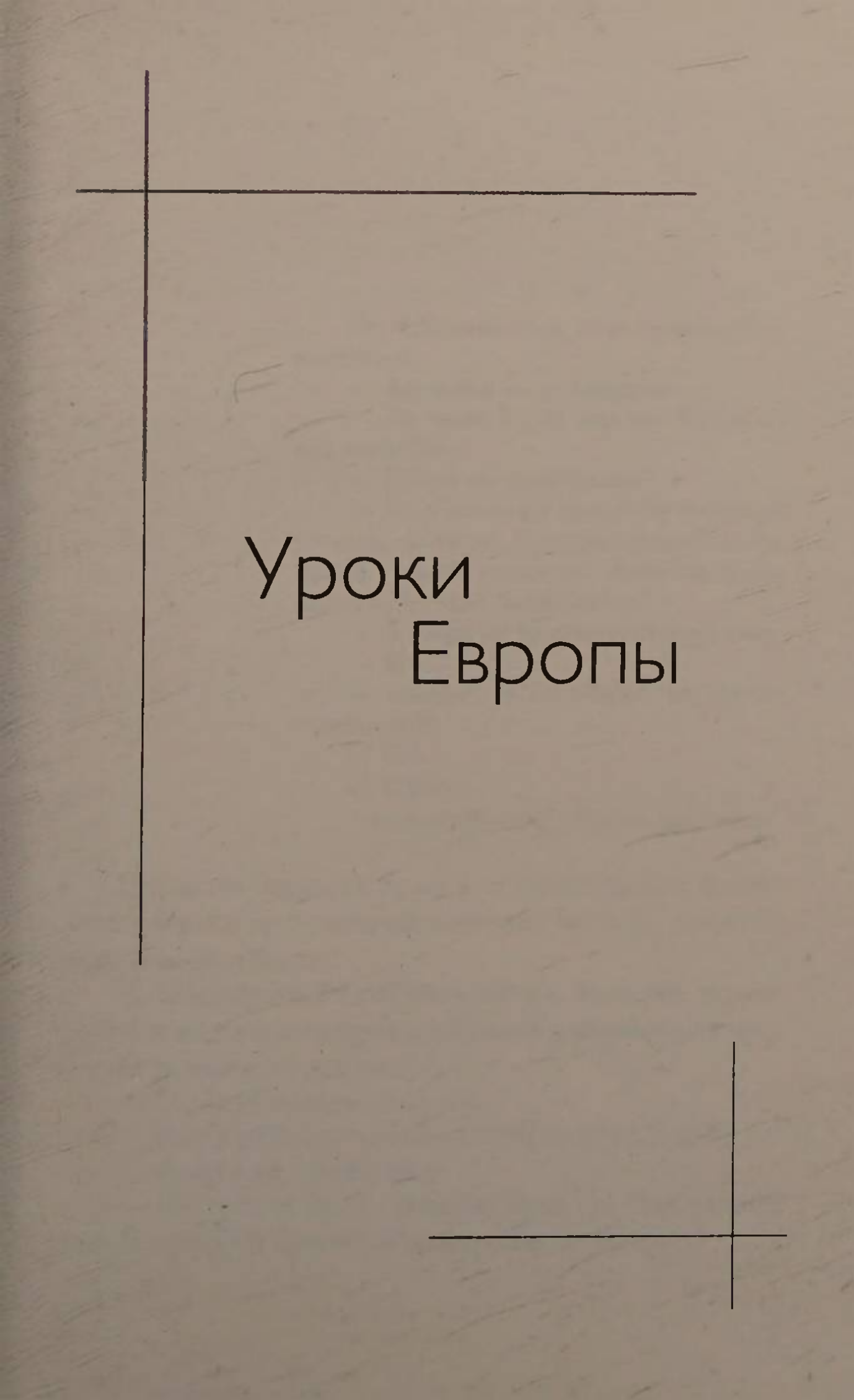
Оформление художника *Е. Ененко*

А 79 **Арбатова М. И.**
Уроки Европы: Проза. — М.: Изд-во
ЭКСМО-Пресс, 2002. — 128 с., илл.

ISBN 5-04-010121-X

УДК 882
ББК 84(2Рос-Рус)6-4

© Составление, оформление. ЗАО
«Издательство «ЭКСМО-Пресс», 2002



Уроки Европы

Ну, какая же она, твоя Армения? —
взвился я.

— Армения — моя родина.

— Ты прав. Но не моя же! Я не могу
так написать!

— Зачем же ты пишешь?

— Но я же очерк пишу! Не стихи, не
рассказ. О-черк. Путевые заметки. За-
метки чужого человека. Заметки неар-
мянина. О-черк, понимаешь?

— А очерк по-армянски знаешь как?

— Нет...

— Акнарк. А «акнарк» по-русски
знаешь что?

— ???

— Намек.

Андрей Битов. «Уроки Армении».

Поезд по-советски грязен, и проводницы, несве-
жие чумички со стукачной выслугой на лице, носят по
купе влажное белье.

— Посуше нет? — интересуюсь я, полагая, что ев-
ропейский железнодорожный билет защищает от пре-
лестей родимого сервиса.

— Можете совсем не брать.

— Как я на мокрое белье зимой положу детей?

— Я сама на таком сплю.

— Не трогай ее, — говорит муж. — Она мигнет
таможеннику в Бресте, и нас толком досмотрят.

— И пусть досматривают, мы ничего, кроме детей, и не везем.

— Конечно, не везем, только всю дорогу до Голландии ты будешь складывать вещи обратно, а мы хотели выйти раньше.

У мужа большой гастрольный опыт, и мне не остается ничего, кроме развешивания простыней в купе. Мы сидим под белыми бельевыми флагами в пыльном вагоне, летящем к свободе, и светлые мордашки детей, изъятых посреди учебного года, кажутся нам реликвиями, вынесенными с поля боя. И так неинтересно думать про все, что наполняло предыдущие тридцать два года, то есть про себя, потому что тигр, как известно, состоит из переваренного барана. И слово «Брест», где меняют колеса, означает начало бытия, и фраза приятеля, отвозившего нас на вокзал, еще хлопает крыльями. «Тысячу раз аморально жить в такой стране, аморально поддерживать ее своим телом, аморально растить в ней детей». Сыновья же, «аморально» прожившие свои двенадцать лет, без всякого пиетета перед фактом поездки быют друг другу морды на верхней полке.

— Петя, Паша, вы хоть понимаете, что мы едем за границу? — возмущаюсь я.

— Понимаем, — говорит один. — Но он первый начал.

— А пусть не врет, — говорит другой. — Эта полка, вообще, моя.

Я засыпаю, как девушка во дни святочных гаданий, и перебираю слова: Варшава, Берлин, Амстер-

дам, Лондон, как имена женихов. Господи, я увижу все это! И никто на настоящий момент уже не может мне помешать!

Советскому человеку, едущему в поезде в Англию, трудно прочитать железнодорожный билет до конца. Информация о том, что по пути следования он может выйти из поезда в течение двух месяцев столько раз, сколько ему заблагорассудится, воспринимается им так же символически, как лозунги «миру мир» и «экономика должна быть экономной».

— Вот же у вас написано, — тыкаю я пальцем в розовые билеты попутчиков.

— Да кто же нас в Польше выпустит, когда мы едем до Англии? — обижаются они.

— А кто же именно вас не выпустит?

— КГБ, — говорит пожилая женщина с завидной твердостью.

— Мы уже несколько часов едем по Польше, — напоминаю я. — Здесь нет КГБ.

— КГБ есть везде, — грустно говорит ее муж. — Я бы и вам не советовал.

Под неодобрительные взгляды мы выгружаемся в Варшаве на элегантном вокзале, шуршащем эскалаторами и польской речью. Когда-то муж привез из польских гастролей фразу «границу между СССР и Польшей легче всего распознать по женской осанке». Никакой такой «осанки» я не вижу. Нормальные светловолосые славянки, и тряпки те же, что и на наших, и манеры вполне социалистические.

Может, при Пушкине полячка и была «хороша и бела, как сметана», но с тех пор либо миф поизносился, либо все лучшее вывезли. И уж вовсе нет той скупченности красоток на один квадратный километр, которым так сильна Москва. Поляки вообще совсем другие. Лица у них собранней к центру, в среднем они взрослее русских, тут и по Льву Гумилеву считать не надо, и так видно. Русские в массе красивей, как дети в массе красивей взрослых. Распахнутость и расставленность глаз как специфика русского типа лица, не уничтоженная даже семидесятитрехлетней селекцией, становится очевидной, только когда переезжаешь границу. В физиогномике она по-прежнему считается признаком искренности и импульсивности.

В ответ на наши вопросы поляки, которыми пугают маленьких детей как особыми русофобами, дарят монетки для телефона, набирают наш номер и долго извиняются за человека, к которому мы приехали, так и не снявшего трубку.

Не дозвонившись, мы решаем жить дальше так, будто этого телефона у нас и не было, что в итоге оказывается правильным. Муж и дети устремляются за информацией, а я остаюсь стеречь восемь неподъемных тюков, чемоданов и сумок, по импортным надписям на которых ни один криминалист не установил бы моего гражданства, ибо кто же чистит перышки прилежней, чем совок, отправляющийся на Запад.

— Знаешь, у нас в Америке, если женщина очень хорошо одета в будний день — это или проститутка, или советская туристка, — объясняла приятельница-американка.

Передо мной вырастает премилый молодой человек с нежнейшей улыбкой и вопросом на французском, английском и немецком: «С какой платформы отправляется поезд до Берлина?» В ужасе я понимаю, что немецкий, изнурительно ученый в школе, университете и институте, не работает, что английский, которым я овладевала целое лето при помощи магнитофонных пленок, записанных приятелем-армянином, следствием чего было приобретение армянского акцента и идиосинкразии к голосу приятеля, не поддается шифровке. Глазами и руками я сообщаю всю информацию, имеющуюся у меня по этому вопросу, и он раскалывает меня:

— Пани — русская!

— Почему русская? Может, глухонемая.

— Нет, видно, что пани — русская, только русская так пожимает плечами. Пан учил русский в школе, пан часто бывал в Союз. Пан сразу понял, что пани иностранка. Пан хотел бы показать пани Варшаву, пани так хороша.

— Такая хорошенькая, — поправляю я, борясь за чистоту стиля.

— О нет. Пан любит русские романы, «такая хорошенькая» хотят говорить, когда не уважают. Пан чувствует русский речь. Пани кого-то ждет?

— Да, я жду мужа и детей, они пошли искать камеры хранения.

— Это очень жалко, что у пани есть муж, я буду ждать муж пани и объясню ему, где камеры хранения.

Когда поляк прощается с нами, дав необходимые разъяснения, я присовокупляю в актив впечатлений

мысль о том, что «границу между СССР и Польшей легче всего распознать по мужским манерам».

Среднестатистический польский мужчина смотрит на женщину, которая ему нравится, в манере «пани так хороша». Оказавшись в Варшаве, приобретаешь пол, возраст и чувство собственного достоинства. Весь город ведет себя, как одна большая компания, собравшаяся в гости хоть и в трудное время, но в хорошем доме. Против этого бессильны ужасы экономики, политическая неразбериха, повальная спекуляция и неопределенность будущего всех вместе и каждого в отдельности.

Мы бросаемся к камерам хранения, с гиканьем находим свободную, запихиваем вещи, счастливо переглядываемся, и тут камера оказывается неисправной. Мы бросаемся к следующей, запихиваем и т. д. На восемнадцатой камере нас начинает трясти.

— Паны напрасно мучатся, им надо в частну камеру, — ухмыляется пьяненький служащий, набивая свою исправную камеру пустыми бутылками, собранными из окрестных мусорниц. Частная камера просит с нас ровно в сто раз больше, чем государственная. Ровно в сто. Если б хоть в девяносто девять! Наше самолюбие уязвлено, выросшие при социализме, мы привыкли к менее откровенному обиранию. Из киосков ехидно улыбаются наши шоколадки «Аленка» по пять тысяч злотых за штуку. Государственный обмен валюты выходной, в частном сидят обыкновенные пираты, готовые обменять на злотые все, что угодно: от ваших ботинок до ваших долларов. Но по какому курсу! Прижав к сердцу завоеванные в боях обменно-

валютной очереди четыреста фунтов на четверых, мы первый раз вспоминаем совет Чуковского: «Не ходите, дети, в Африку гулять».

— Скажите, пожалуйста, где можно найти гостиницу? Отель? — спрашиваю я пожилых полячек.

— Вот отель, и вот отель, и вот отель. И вон там отель.

— Скажите, а сколько примерно стоит переночевать одному человеку? Самое маленькое.

— Самое маленькое? Если самое маленькое, то примерно сто.

— Сто тысяч? — радуюсь я, переводя это в кофе и шоколад, зная, что такая расплата в польских отелях приветствуется.

— Тысченцев? — обиженно фыркает самая терпимая, остальные просто каменеют. — Пани, наверное, давно не была в Польше. Не тысченцев, а миллионцев.

Телефонный номер «чеховеда» не отвечает, но у соседнего автомата весело матерится соотечественник, я дожидаюсь окончания его матерения в трубку.

— Скажите, пожалуйста, где можно устроиться на ночлег за разумную плату?

— Русская? — радуется он. — Слушай, я сам русский, я с полькой фиктивный брак сделал. Ну, что там у вас? А я так клево устроился! Знаешь, сколько я в месяц гребу? В общем, на наши деньги, советские, больше тысячи! Поняла? У меня дом, машина... — дальше следует длинный список его материальных завоеваний.

— А все же где можно переночевать?

— Ладно, записывай адрес. Я, правда, на сегодня уже чувиху снял, но тебе как землячке сделаю исключение. Есть чем писать?

— Я вас спрашиваю, где четыре человека могут переночевать за разумную плату?

— Четыре? Ну, ты даешь! Валюты много — везде переночуете, а с деревянными можете только здесь расположиться на ступенечках. Была бы одна, я бы тебя взял. Бывай, детка, — и он дематериализуется.

Мы садимся на бордюрик — со скамейками в Польше, как и во всей Европе, плохо, — открываем консервы и с ужасом наблюдаем, как дети едят их ножом из банки. Наш приятель диктовал в Москве адрес и инструкцию: «Придете, скажете, мы от Кости из Советского Союза. Фамилии моей она не знает, но бабка чудная. Живет на самом краю Варшавы, телефона у нее нет». По такой наводке с детьми и тяжелыми вещами на самый край города могут пойти только люди без всяких видов на будущее. За полдня в Варшаве мы становимся именно такими людьми.

Два года тому назад на гастролях по Польше муж не успел купить мне сапог. Сейчас этих противозаконно привезенных тысяч нам хватает на три автобусных билета, четвертый едет зайцем. Автобус в Варшаве потрясает, пожилым людям и женщинам не просто уступают места, но делают это с удовольствием. В автобусе идет светская беседа, не слишком сытые поляки улыбаются друг другу, передавая талоны, обмениваются общегородскими новостями, то есть ведут себя как нормальные люди, на что советский человек, выросший в условиях машинальной агрессии в транспорте,

взирает изумленно. Красивые пани полны чувства собственного достоинства, некрасивые — еще больше. Ни одного трехрублевого взгляда, который советские женщины распространили от овощного магазина до университетской аудитории как символ высшей женственности.

В Бродно, собрав все свое мужество, поднимаемся на лифте со стеклянной дверью, прикидывая, за сколько секунд такая дверь была бы разбита в родном отечестве, и оказываемся на лестничной клетке, которая много чище советских больничных палат. Не заметив на стенах ни одного нелатинского обозначения гениталий, посчитав горшки с цветами и еловые ветки, украшенные елочными игрушками, я, наконец, верю в то, что я за границей. Потом, зажмурившись, представляю, как нас выкидывают в никуда, и нажимаю на звонок. Величественная, как императрица, седая пани Кристина появляется в проеме двери, вцепившись в ее юбку, два отчаянно голубоглазых ребятенка изумленно разглядывают нас.

— Здравствуйте, пани Кристина! — дико ору я, помогая себе при этом руками: видимо, так разговаривают с глухонемыми. — Мы из Советского Союза... Из Москвы... рашен... Мы от Кости! Помните Костю? Высокий такой, с бородой!

Несколько минут пани Кристина молчит, поскольку не понимает по-русски вообще, потом, увидев, что происходит с нашими лицами, вежливо улыбается:

— Прошу, пани, прошу, пана, прошу, диты!

Мы въезжаем всеми своими тюками в изящную квартиру, быстро подкупаем шоколадом голубоглазых

Доминика и Паулину. Пани Кристина ставит чай, сажает нас за стол в кухне, дает русско-польский словарь, и мы начинаем разговаривать на каком-то международно-интуитивном языке о Горбачеве, польской дороговизне и общих грехах европейских коммунистов. Видя, как тонко она нарезает хлеб к чаю, я, наконец, понимаю, что такое экономическая реформа, и выгружаю на стол столько консервов, сколько на нем умещается. Пани Кристина смотрит на них, как на джинна, появившегося из бутылки, и машет руками.

Мы идем бродить по Варшаве, пани Кристина бранится нам вслед по-польски, объясняя руками, что в такой ветер можно простудить детей.

Варшава — просторный праздничный город, созданный для любви и молитвы. Благообразные старушки соседствуют в костелах с накрашенными дивами, осанистые паны — с джинсовыми мальчиками и военными. Вежливо спросите у поляка, как пройти, и он бросит все и доведет вас до самого места. Одна молодая мама потащила нас через улицу, оставив малыша в сидячей коляске, с таким азартом, что мне пришлось вернуться и буквально поймать его падающим на асфальт. Влюбленная пара, попавшаяся вечером, готова была тут же изменить маршрут и вести нас через несколько кварталов: «Уже темно, вы ничего не найдете, вы непременно заблудитесь». И это в ответ на русскую речь, с которой у поляков, уверяю вас, ничего хорошего не связано.

Варшава в порывах вечернего ветра, как декора-

ция из сказки Андерсена. Витиеватые торты в магазинных витринах похожи на замки, пивные антикварного вида и пижонские рестораны распахивают двери, за которыми не встречаются ничем, кроме улыбок. И это вечером, с детьми и советскими рублями. Крепостные стены; шелкового вида Висла; трамваи в стиле «ретро», набитые после окончания службы в костелах толпами стариков и старушек; и ощущение неслыханной немотивированной свободы, не повторившееся потом ни в Берлине, ни в Лондоне. Может быть, «пепел Класаса»? Семья моей бабушки в четырнадцатом году бежала от немцев в Москву из Люблина. Может быть, смесь славянского легкомыслия и католического изыска? Юрия Олешу называли «лучшим французом среди русских», какая нелепость! Сказать женщине: «Вы прошумели мимо меня, как ветвь, полная цветов и листьев», — может только поляк. Эта фраза сделана из того же материала, что и Варшава.

Утром мы выныриваем из пуховых перин и отправляемся обменивать деньги. Мы боимся залезать в заветные фунты, тем более что родное правительство не выдало нам ни пенса на Петра и Павла, ведь, по представлениям Минфина, ребенок до четырнадцати лет, попав за границу, не ест, не пьет, не пользуется услугами транспорта и туалетов, то есть ведет себя, как чемодан. Четыреста фунтов, рассчитанные нами на посещение пяти стран, оказываются на деле одним обедом в приличном ресторане или двумя видеомагнитофонами, и то в Англии. Потому что в Германии только одним.

Утренние улицы оказываются праздничнее вечер-

них. На них толпятся киоски с надписью «запеканки». Больнично-столовское ругательство «запеканка» обозначает здесь сказочный блинчико-пирожок, чем-то начиненный, чем-то политый и стоящий половину джинсов. Хлебопечение в Польше традиционно считается видом искусства, но советский турист меряет окружающее пространство джинсами, как мартышка из мультфильма — попутаями. Надо сказать, что наша ахиллесова пята — советские штаны детей; с каждым часом эта пята растет на фоне варшавских реалий, и, не будучи особыми пижонами, мы все же спешим освободить Петра и Павла от детскомировского силуэта.

Круглый стеклянный центральный банк распахивает утробу, набитую шевелящимися очередями, когда навстречу нам выплескивается вопящая, слезящаяся и кашляющая толпа. Из жестикуляции и проклятий мы понимаем, что кто-то прошелся по банку с газовым баллончиком: то ли ограбление, то ли борьба с длинной очередью. Глотки наши перехватывает, и мы бросаемся прочь, хотя остальные продолжают тусоваться, вытирая слезы и кашляя. Баллончики продаются на каждом углу по цене запеканки. Поляки привыкли к этому виду спорта. Девственные в смысле газовых баллончиков, мы боимся попасть в больницу со своим богатым словарем и советскими деньгами. Тут-то и подворачивается доброхот-соотечественник: «Деньги в Польше менять? Да не смешите! Завтра в Восточном Берлине поменяете, купите в сто раз больше. Детям штаны? Идите сейчас на рынок Ружевица и меняйте на кофе, какао, шпроты, тушенку».

Путь к рынку Ружевица лежит через центр, пол-

ный шикарных магазинов, отелей, рынков, набитых одеялами, кружевами и самодельными колбасами. Деликатесные киоски ломятся от угрей и устриц; фрукты всех стран, наше шампанское, шоколад «Аленка», измеряемые в джинсах, выглядят оскорбительно. Вдоль газонов, разложив на траве ношенные, но мокрые для товарности вещи, поражая хорошими манерами, торгуют представители дна. Антикварные магазины и цветочные салоны, хлеб по цене духов, умопомрачительные меха на прохожих и люди, копающиеся рядом с ними в урнах. Кажется, что спекулирует вся Польша. В комнате пани Кристины лежит двухметровая стопка спортивных костюмов, ее дочка-студентка была на практике в Сингапуре. «Теперь надо ехать в Союз продавать их», — тяжело вздыхает пани Кристина. И тут же протягивает нам ключи: она пойдет в детский сад за Домиником и Паулиной, а мы можем прийти раньше. Это при том, что мы знакомы день, а кто такой Костя, она так и не вспомнила.

До рынка Ружевица добираемся, когда начинает смеркаться. Это сказочный городок разбойников, по очередям и палаткам разбрелись персонажи Феллини, чтобы взаимодействовать с польской любезностью и социалистической разнузданностью. Участвовать в этом маскараде не стыдно и весело. Достав шоколадку «Сказки Пушкина», я малодушно представляю себе лица московских знакомых, нарвись они на меня в эту минуту, и припоминаю, что Ходасевич и Ахматова торговали селедкой, когда литфонд отоваривал их продуктовые карточки только этим продуктом. Дети с интересом смотрят на меня, муж ждет, что уж сейчас

точно заберут, и на этом вояж в Лондон счастливо закончится.

Видимо, я стою как соляной столб, и выражение моего лица не цепляет ни один спекулянтский глаз. Устав от профессиональной непригодности, я возвращаю «Сказки Пушкина» в сумку, и мы идем мимо рядов более удачливых коллег к выходу. И тут вдруг появляется женщина с вездесущим выражением лица, мгновенно, через сумку оценивает содержимое и истошно верещит:

— Пани русска! Пусть пани продаст рыбку!

— Какую рыбку?

— Рыбку! Пусть пани продаст рыбку! Рыбку!

Я вылавливаю в сумке банку шпрот, пани стонет от счастья и трясет бумажками. Злотые в сумерках рынка надо очень тщательно проверять, потому что польские пять копеек такая же простыня, как и пятьсот рублей, чем грамотно оперируют аборигены в отношениях с туристами. Пока Саша отсчитывает надобную сумму из охапки злотых, «пани рыбка» превращается в огромную толпу, лезущую в сумку руками с всхлипами «рыбка, мяска, кава». Перед моим носом крутят уже несколько банок, извлеченных из моей же сумки под крик «пани, пять тысенцев!».

Я жестко отнимаю консервы, трепетно собираемые целый год до поездки из писательских заказов, отпихиваю от своего лица лохматые тысенцы, на поверку оказывающиеся никакими не тысенцами. Мы отгоняем толпу на пару шагов, дети с грозными лицами становятся в караул с двух сторон сумки, в которую лезут руки в перчатках и без перчаток, Саша превра-

щается в банк, принимающий деньги, а я, аукционным жестом вынимая очередную тушенку из сумки, предлагаю ее домогающейся публике.

Однако поляки люди твердые и артистичные, они быстро соображают, что мы не имеем ни малейшего представления о ценах, и как только я называю сумму, вполовину приближающуюся к реальной, начинают зевать и улыбаться. Сумка, наконец, пустеет, но тут я обнаруживаю страстное шаренье по собственному бедру и натыкаюсь на ледяную голубоглазую физиономию, интересующуюся вовсе не моим бедром, а моим карманом. Я автоматически быю по руке обидчика, но он не бросается наутек, а обращается ко мне с польским текстом, из которого я понимаю только слова «морда, курва и пся крев». Он пристраивается к толпе, угрожающе поглядывая на меня и перекидываясь фразами с коллегами. «Панирыбка» виснет на мне и жарко шепчет: «Пани така хороша, так дешево продает. Пани и пан должны скорей уходить. Пани и пан могут бить».

Сопоставив совет с группирующеййся вокруг голубоглазого кодлой и суперменскими комплексами мужа, результатами которых может стать ночевка в полиции, я уговариваю своих сдвинуться из центра рынка к его освещенному выходу. Толпа покупателей и глазетелей сопровождает нас, продолжая орать «мяска, рыбка, кава». Веселый еврей, почему-то настаивающий на том, что он француз, доводит нас до иступления.

— Продайте часики за рубли! — канючит он, увидев на нас часы. — Мне очень нужны такие часики!

— Ну, подумайте, зачем нам рубли, мы едем в Англию!

— А мне они зачем? Продайте часики за рубли! Мне очень нужны такие часики!

— Саша, отдай ему все, чтоб только он замолчал, — умоляю я мужа на сотом витке этого сонета.

Получив часы «за рубли», он никуда не девается, а собирается отплатить за добро добром. Сначала для поднятия тонуса шепчет на ухо Саше какую-то скабрезность, от которой мой интеллигентный муж краснеет даже в сумерках рынка Ружевица, где уже никто ни от чего никогда не краснеет. Затем он наводит порядок в тушеночно-шоколадной очереди, выясняет наши цели, пересчитывает наши деньги и велит немедленно бежать в «Детский мир», до закрытия которого...

Купив и напялив на детей великолепные штаны, я обнаруживаю за двадцать минут до закрытия сапоги, о которых мечтала всю предыдущую жизнь. Муж уже ничего не может со мной сделать, я выхожу к центральному входу и начинаю продавать «Сказки Пушкина», соображая только, сколько тысяч мне не хватает и сколько минут до закрытия магазина. Саша взирает на это с ужасом, дети хихикают, представитель охраны порядка делает глазки, а я неумолимодвигаюсь к тридцати восьми тысячам. В последний момент, когда не хватает пустяка, передо мной возникает пара молодых супругов с двумя бледными ребятишками. Я сую ребятишкам по шоколадке, от чего родители приходят в ужас.

На каком-то языке мне удастся объяснить, что жест чисто благотворительный, и они перестают вы-

кручивать шоколадки из детских пальцев. Тогда я предлагаю банку кофе за смехотворную, но не хватающую мне на сапоги сумму. Они с ужасом переглядываются и предлагают в четыре раза больше. Я пытаюсь объяснить, что магазин закрывается, что ночью мы уезжаем в Берлин и все злотые в мире теряют для нас смысл. Я поочередно изображаю то поезд, то сапоги, то часы, неумолимо движущиеся к закрытию магазина. Они напряженно молчат, подозревая с моей стороны подлянку. Тогда я добавляю к кофе святое святых для всякого поляка в связи с дорогим электричеством — кипятильник — и называю прежнюю сумму. Они переглядываются и мотают головами. Отчаявшись добрать до их сознания, я ввергаю их в крайний соблазн, добавляю к этому банку тушенки — и называю прежнюю цену. Искушение так велико, что они начинают ругаться между собой, вырабатывая линию поведения со мной и размахивая деньгами.

Их разнимает старушка, продающая запеканки, из длинной тирады которой я понимаю только слово «русски» и жест у виска, оценивающий мои интеллектуальные способности. Они, наконец, отсчитывают нужную сумму, сгребая детей и покупки и, пятась, отступают с лицами, перекошенными подозрением. У меня не хватает времени почувствовать себя Дедом Морозом, я бросаюсь в обувной отдел, прижимаю к груди коробку с сапогами, и звонит колокольчик. Видели бы вы мое лицо, когда на ступеньках закрытого магазина сапоги оказываются непоправимо малы!

Пани Кристина целует нас на дорогу, обещает приехать в гости, даже кормит детей яичницей, что в

свете польских цен... Мы бежим на берлинский поезд, в очередной раз наевшись мясных консервов и шоколада. Одна из китайских пыток — человека кормят одним мясом, пока он не умирает в страшных муках.

Плацкарта наша утрачена, ну так что? В московской кассе объяснили, что все свободные места в поездах нашего направления — наши. Мы выбираем пустое купе, радуемся тому, какие мы умненькие, и отправляемся в Германию. Два полууголовных типа, разделивших нашу компанию через станцию, задраивают двери, задерживают занавески и выключают свет. Я понимаю, что у них так принято, но больше всего ожидаю, что «тут-то они нас и порешат». Вагон пустой, но Польша оказывается длинней, чем на карте. Сначала приходят люди с билетами на свободные места. Потом приходят на места полууголовных типов. Потом ссаживают Сашу, и он уходит стоять в купе. Когда добираются до меня, я безуспешно пытаюсь напомнить о привилегиях своего пола.

Вскоре приходится усадить детей на одно место, которое провидение сохранило для них до самого Берлина. Я выхожу, точнее, протискиваюсь в тамбур, забитый до отказа панами: примерно так Солженицын описывает перевозку зеков. Мне удастся докричаться до Саши, стиснутого телами у соседнего купе, и мы с ужасом соображаем, что будем делать, когда детей, сидя спящих на одном месте, заставят встать. Никогда не верьте людям в билетной кассе. География, конечно, наука для извозчиков, но выяснить, что все здоровое мужское население страны ночными электричками отправляется каждый день за границу, потому что

живет на спекуляцию, и что правительство страны поддерживает это решение экономических проблем, продавая по три билета на одно место, вы обязаны.

Ночная электричка Варшава — Берлин — эдакий город мужчин, где моя еще не до конца растерянная ухоженность и квохтанье над сыновьями вызывают дикое недоумение. С детьми в таком поезде следует ехать, только спасаясь от бомбежки или скрываясь от полиции. День хождения по Варшаве и полночи стояния в электричке делают свое дело. Когда под утро муж запикивает меня в соседнее купе на колени к юному коммерсанту, а сам остается стоять, охраняя детей, я уже плохо соображаю.

Начинается Германия, светлая и просторная, как Украина. В окнах бегут грубые сельские дома и цветущие февральские рощи. Попав в Европу зимой, оцениваешь доблестную роль русских морозов в отечественных войнах. Холод проживается здесь в пиджаках и плащах, меха надеваются в оперу. Жить в таком нечеловеческом климате, как наш, европейцам кажется гражданским подвигом.

После шипения куртуазных поляков окрики немецких таможенников напрягают и собирают оттаявшее в Варшаве естество. Четко, грубо и громко немцы прочесывают состав, отлавливают зайцев и расправляются с ними без всякого злорадства, как автоматы. Ни малейшего интереса у таможенников не вызывает и то, что пан, на чьих коленях я сижу, вовсе не мой муж. А дети в соседнем купе, вписанные в мой паспорт, еще и вписаны в паспорт человека, дежурящего

около них стоя. Немец считает количество печатей и рявкает «гут».

«Город мужчин» шелестит фольгой и целлофаном, чавкает и хлопает, дымятся развинченные термосы, благоухают бутерброды. Обладатель приютивших меня колен предлагает кофе. Я не могу добраться до детей и накормить их. Пожилой усатый пан, ехавший всю дорогу с детьми, дарит им свои бутерброды и бутылку сока, что в свете польских цен — жест королевский. Деловые Петя и Паша, уже сообразив, что Запад — не такой уж рай, припрятывают и то и другое.

Утренний пустой Восточный Берлин к нашим услугам. Около вокзала — банк обмена валюты. Стосковавшиеся по жизни с деньгами в кармане, идем менять законные, оговоренные декларацией транзитные денежки и протягиваем в окошечко кассы меченные Лениным красные бумажки.

— Это уберите. Это мы не меняем, — сухо отвечают нам.

— Вот декларация, согласно которой вы должны обменять нам шестьдесят рублей.

— Вот соглашение, подписанное вашим правительством месяц тому назад, о том, что наше правительство отказывается иметь дело с советскими рублями.

— Но почему нас не предупредили?

— Это вопрос к вашим властям.

— Скажите, где находится советское консульство? Мы хотя бы разобьем там окошко.

— Для того чтобы добраться до консульства, вам

понадобятся марки, но учтите, советское консульство — последнее место, в котором вам помогут.

Дети с серыми лицами от ночного поезда и консервной кормежки, мы, десять раз проклявшие себя за то, что обрекли их на подобное развлечение, тюки, набитые пластинками, альбомами, сувенирами и напитками, тяжело везомыми в Лондон, видимо, составляют живописнейшее зрелище. К нам подходит молодая пара неизвестного подданства, парень на хорошем русском извиняется:

— Мы слышали ваш разговор, мы понимаем ваше положение, вы должны принять от нас немного денег. Пожалуйста, не отказывайте нам.

Мы не успеваем ни отказаться, ни поблагодарить, как они буквально убегают. Переглядываемся с преглупым видом. Теперь мы хотя бы можем позвонить и проконсультроваться, но, как в случае с «чеховедом», к телефону никто не подходит. Поезд в Голландию идет из Западного Берлина вечером, и мы отправляемся сдать вещи в камеру хранения в Западный Берлин.

Когда идешь по центру Москвы и сквозь останки города сыто пьются кагэбэшные и партийные гадюшники, кажется, что город растоптан умышленно. Недавно я везла через центр Москвы француженку, которая десять лет не была в России. Дело было перед Первым мая.

— Что это за дом? — спросила она.

— Лубянка. При Сталине здесь пытали. Короче, Бастилия, — объяснила я, и таксист поддакнул.

— Зачем же вы повесили на Бастилию портрет

Ленина? — изумилась она портрету параноидальной величины.

— Что изменилось в Москве за десять лет?

— Все изменилось. Москва утрачена, — ответила француженка.

Так вот, Берлин, социалистический Берлин, был городом, который обожали его хозяева. Город — как ребенок, по нему в одну минуту видно, насколько его любят. Берлин таков, каким должен быть цивилизованный европейский город. Может быть, чуть более правильный и помпезный, чем бы хотелось, но стройный, светлый, чистый и какой-то вытянутый к солнцу. Город-монумент, в котором живут, ни капли с ним не фамиллярничая, похожий на очень литературный сон о Германии.

Берлинцы, такие каменные после варшавян, равнодушно разглядывают нас, принимая за поляков. У немцев больше всего мне нравятся старики, то ли они озарены каким-то тайным знанием, недоступным пока остальным, то ли чувственность немецкая состоит из такой тяжелой материи, что делает многие лица похожими на гири, то ли пожилые захватили золотой, дофашистский век и отсветы этого века еще не растаяли в их глазах. В Берлине приятная молодежь, без особых красот, но интеллигентная; ухоженные, но зажатые дети. Когда идешь по улице, пугает ощущение задисциплинированности, мотивированности и обязательности происходящего. Дивный город пахнет мышеловкой, и у него чуточку интернатское лицо. А глаза у берлинцев — как аквариумы без рыбок.

Переходим через таможенный контроль в Запад-

ный Берлин, движемся к вокзалу и попадаем в подземный кафельный переход с огромным количеством щупальцев, выходящих в самые неожиданные места. В их сочетании, как у Борхеса, поражает даже не разнообразие, а сама «природа их соседства». Загадкой являются ручейки немцев, беседующих картонными голосами и безошибочно идущих в нужное щупальце. На вопрос «где главный вокзал?» смущенно пожимают плечами.

Указатели и надписи, на которых взращен советский человек, заменены буквами алфавита; ни один из людей в форме то ли не располагает полной информацией, то ли не понимает, чего мы хотим. Идем методом исключения, вместе с детьми и вещами, потому что вряд ли смогли бы вернуться в прежнюю точку лабиринта. Одно из щупалец заканчивается крохотным подземным ателье-магазином; фрау с сантиметром на шее обхамливает нас без всяких изысков. Второе — банком обмена валюты, с нами поступают аналогично. Дальше — заковыристые выходы в город, в метро, на электричку, бог знает куда.

Потеряв надежду, натываемся на искомое. В хиллом щупальце стоит справочное бюро, наглухо закрытое, несмотря на обещанный капиталистический сервис, и висит крохотное типографское расписание, из расшифровки которого следует, что поезд в Голландию отправляется в 23. 00. Я, наконец, обнаруживаю полицейских, надменных и пышных, как члены Политбюро. Они медленно и прилежно прочитывают расписание с начала до конца и втыкают три пальца в цифру 23. Зачуханная платформа, расписание в стиле

нашей сельской станции, где поезд стоит две минуты, обещает маршрут Западный Берлин — Хук ван Холланд. Дюжий малый в камере хранения, работающей только до 21. 00 (кстати, об удобстве), заламывает такую цену в фунтах, что его польский коллега вспоминается нам как отец родной. Потоптавшись, решаем вернуться в социалистическую камеру хранения, на которую бы хватило наших благотворительных марок, и выбираемся в щупальце, ведущее к электричкам.

На вопрос «как вернуться на главный вокзал (Хаупт Банхоф)?» нам отвечают странными взглядами. Потом потыкав пальцем в схему электричек, вписывают нас в поезд. Выйдя на надобной остановке, оказываемся на безумно красивой станции, меньше всего похожей на Хаупт Банхоф. Там снова тычут пальцем в схему, снова суют в электричку, снова выгружаемся и оказываемся вообще бог знает где. Дальше все как в дурном сне. Немцы спорят друг с другом, тычут пальцами в схему и с полной определенностью сажают нас в новый поезд. Вытаскивая вещи на новой станции, понимаем, что все больше и больше удаляемся от цели.

Пространство движения немецких электричек оказывается четырехмерным: с одной и той же платформы можно уехать в четыре разные стороны света. Десятый по счету поезд привозит в кафельное щупальце, с которого начался отсчет. Ясно, что либо никто не понимает, чего мы хотим, либо над нами планомерно измываются. На детей нельзя смотреть; муж, простоявший ночь в поезде, валится с ног; я в истерике. Выхода нет. Я думаю, что придется разбить витрину, по-

пасть в полицию, и тогда нас хоть куда-нибудь отведут. Умирая от отчаяния и стыда перед детьми, я начинаю рыдать.

Немцы оказываются слишком деликатными, чтобы вмешаться в судьбу семейной пары с детьми, чемоданами, плачущей женщиной и растерянным мужчиной. Из всего Берлина мои рыдания действуют только на мужа, который невероятным способом соображает, что хилое кафельное щупальце и есть Хаупт Банхоф, только не Восточного, а Западного Берлина, что, чтобы попасть на большой Хаупт Банхоф, нужно вернуться через таможню в другой Берлин, что на одних станциях висят схемы электричек Восточного Берлина, на других — Западного, а на третьих — общие. Немецкий автоматизм блокировал сознание консультантов: потратив на нас уйму времени, ни один не попытался выяснить, откуда и куда мы, собственно, добираемся. Самая большая загадка для меня до сих пор — по какому принципу они сажали нас в те или иные поезда.

Немцы нелюбопытны и производят впечатление людей, упакованных в целлофан. Уже невменяемые, бежим в Восточный Хаупт Банхоф и сдаем вещи в камеры. По телефонному номеру никто не отвечает, до вечера есть время, но уже ничего не хочется и вообще, если честно, хочется домой, и это уже осторожно высказывается вслух. На лавочке перед вокзалом открываем очередные консервы, завистливо поглядывая в окна ресторана и припоминая все афоризмы по поводу победителей и побежденных. Заходим в первый попавшийся магазин, видим девяносто видов обоев. Ну и

что? Мы и так знали, что здесь их девяносто и что это само по себе еще ничего не меняет.

Страдать заставляет продуктовая витрина. Застрадали так, что махнули рукой на неприкосновенный запас фунтов, бежим в обменный банк. Там удивляются, вызывают директора, директор, хмыкнув, сгребает красивые английские железяки и насыпает нам социалистических медяков. Медяков хватает на четыре сосиски и два стакана чая, разбавленного чем-то вроде шампуня. Впоследствии узнаем, что во всех банках мира металлические деньги не обмениваются, увидев перед собой питекантропов, не знающих даже этого, директор крупно надул нас в обмене.

Вспомнив, что за точными немцами нужно все проверять, бежим в справочную. Ленивая лохматая тетка с табличкой «русский переводчик» уверяет, что садиться на голландский поезд можно и здесь, только на двадцать минут раньше. Я умоляю ее сказать правду, не придется ли снова ехать стоя.

— Конечно, придется. Вы, русские, думаете, что вас везде ждут, и покупаете билет с открытым числом. Вон, посмотрите, ваши русские сидят, ждут билетов. Живут на вокзале, денег им в банках не меняют, валюта кончилась, консульству наплевать. Они тут воруют и попрошайничают. Нехорошо, неправильно.

Целые семьи с детьми действительно сидят на чемоданах. Это возвращающиеся с Запада, купившие открытый билет, поверив советским кассиршам, что он удобней. Выглядит этот табор грустно и поучительно. Поживите недельку на вокзале в чужой стране без денег!

Ночь в поезде стоя мы не выдержали бы, даже если бы в Лондоне нас ждало наследство. Квартирное бюро закрыто, компьютер дает маловнятную информацию о дорогих отелях. Стеклопанель с крестом, полумесяцем и сочным рекламным обещанием оказать помощь матерям с детьми освещена соблазнительными внутренностями и заперта изнутри. Патруль из советских солдат, нелепых и негнущихся.

— Мальчики, где здесь можно переночевать?

— Тут, на вокзале. Пока здесь наши части стоят, немцы нас во как боятся. Мы их во как держим, — гордо сообщают курносый прыщавый русский, мордастый хохол и недоразвитый по возрасту, перекормленный нитратами азиат.

Становится очень стыдно. Ведь стыдно быть оккупантами.

В нашем распоряжении кафельный пол и деревянные скамейки, какие стоят в костелах. Собственно, в Западном Хаупт Банхофе нет и этого. Грязный Киевский вокзал с рядами клеенчатых кресел и малосъедобными, но доступными по цене любому гражданину мира пельменями вспоминается как сон золотой. Моральные силы истощены, мы готовимся к ночлегу на кафеле. И вдруг по телефону отвечает женский голос.

— Здравствуйте, Герда! — уже без всякого энтузиазма говорю я, ознакомившись с Берлином за день. — Не могли бы вы нам посоветовать, где можно переночевать и т. д.

— С вами дети? Вы ехали в сидячем вагоне? Это ужас! У вас есть мой адрес? Немедленно берите такси.

Только не думайте расплачиваться с таксистом — это будет обида. С таксистом буду расплачиваться я!

Бросаемся в такси, едем мимо расступающихся солидных домов. Берлин, собранный и помпезный, как парад войск, летит мимо, как в окне самолета. Сказочная Герда своим появлением разрушает чары, во власти которых мы находились весь день, сердце города оттаивает, как сердце Кая. Водитель, ухмыляясь, сообщает, что две ошибки, допущенные мной при записи адреса под телефонную диктовку, могли привести в противоположный конец города. Но поскольку все страшные сказки хорошо кончаются, он привез нас все же на Селла Хассе.

Из дома выбегает спортивная блондинка в футболке и джинсах и падает нам в объятия. Мы с трудом верим, что это пятидесятилетняя профессор экономики Герда Яспер. В квартире, срисованной с каталога, нас ждут ванна, полная розовой пены, постеленные постели и ужин, на который не хватает сил. Мы проваливаемся в сладкое варево сна, в котором ехидные немецкие электрички перемешаны с болтливыми польскими спекулянтами.

Просыпаемся в детской семилетней Лидии. Стены вместо обоев разрисованы веселым художником, на них присутствуют солнце, лес, звери, цветы, грибы и дома. Всей компанией они страхуют Лидию от уныния и советского «не смей пачкать обои». Стеллажи набиты играми, при виде которых Петя с Пашей уже не хотят даже есть. На письменном столе хозяйки комнаты ваза со сладостями. Никто не объясняет, что «конфеты можно после еды» и что «много конфет вредно». На

столе несколько хороших кремов. И тем и другим Лидия застрахована от проблем, которые советские девушки решают полжизни.

Кухня Герды отделена от столовой стеклянными полками, в которых стоит посуда; сквозь хрустальные ножки бокалов хозяйка улыбается нам, возясь у плиты, поглядывая на экран телевизора.

— Кто придумал такую кухню?

— В каком смысле?

— Эти стеклянные полки...

— Типовая застройка, чтобы человек, готовящий еду, не чувствовал себя отделенным от семьи.

Герда, окончившая московскую аспирантуру, говорящая по-русски, с большой неприязнью говорит о Западном Берлине.

— Мне нравился капитализм, пока он не касался нас. Вы, русские, думаете, что капитализм сам по себе решает все проблемы. Социализм — это плохо, но капитализм — это ужас! Вы больше других пострадали от марксизма, а судите о мире по примитивам марксистской шкалы. Только ваши вожди обещали, что социализм — это рай, а вы считаете, что капитализм — это рай.

— Ах, Герда, — вопим мы. — Вас испортила московская аспирантура! Капитализм в одну секунду вылечит нашу страну, как и любую другую!

— Ладно, — отвечает Герда. — Езжайте дальше, смотрите, только снимите, как это говорят у русских, «красные очки».

— Розовые очки.

— И не забудьте, я объехала весь мир, к тому же

я — специалист по капиталистической экономике. И я поняла к своему возрасту, что дело совсем не в строе, а в национальном характере и уровне культуры.

Герда везет нас в Западный Берлин; город в ее присутствии из декорации превращается в организм. В стеклянном банке, засыпанном рекламными проспектами, вежливейший парень предлагает поменять нам мешок рублей на несколько марок. И согласен так же обойтись с фунтами.

— Это ужас! — говорит Герда. — Две марки стоит бутылка воды, а бутерброд стоит дороже.

Курс, по которому нам предлагают поменять фунты, не соответствует вообще ничему. Он исходит только из того, что нам нужны марки, и больше ни из каких реальных денежных соответствий.

— Это частная контора? — спрашиваем мы.

— Нет, государственная.

— ???

— Им плевать на курс фунта. Значит, так. Деньги здесь, пожалуйста, не меняйте. Вот восточные марки, вот пакет с едой, а меня ждут аспиранты. Проголодайтесь — вернетесь в Восточный Берлин и купите все на восточные марки.

Центр Западного Берлина, конечно, отличается от московских улиц примерно как пионерская песня от музыки Шнитке. Но остаться жить на этой улице я смогла бы только под дулом пистолета. Эдакое железобетонное рококо, вакханалия реклам, пальм в кадках, покрытых ковром тротуаров и прочее сумасшествие денег. Немножечко пародия на капитализм, в котором

изобилует все, кроме вкуса и чувства меры, притом, что в двух шагах Остров музеев.

Вход в зоопарк не по карману не только нам, но и большинству западногерманских детей. В магазине цветов, оформленном с нечеловеческой красотой, запрещают фотографировать. Старинный японский меч в магазине оружия, конечно, стоит дорого, но типовой пистолет — дешевле обуви, а обувь — дешевле книг.

У метро грязная девочка продает старые игрушки, лежащие на драном одеяле. Две девушки плохонько поют, бренча на гитаре. Пьяный старик, трясая железной кружкой, выпрашивает деньги на лечение привезенного из Лапландии оленя. Плешивый олень, хрипло дыша, лежит рядом и безнадежно смотрит на берлинскую публику слезящимися глазами. Пижонский магазин мебели предлагает кривые декадентские диваны, стеклянные столы и шкафы с выдвигающимися зеркалами, торшеры и раковины по цене дворцов.

В магазине машин «Порше» с одной царапиной за восемьсот марок (кроссовки стоят от ста до двухсот).

— Почему так дешево?

— Это не дешево, на этой машине уже ездили.

— У вас есть «Лады»?

Лицо продавца становится таким, будто его заставили съесть таракана.

— «Лада» — самая плохая машина, которую я знаю. Никогда не покупайте «Ладу».

В магазине велосипедов детей, садящихся на образцы, обхамливают так, что советские тетеньки за прилавками кажутся институтками. На углу окликают по-русски. Очень пожилая интеллигентная пара.

— Извините, мы слышали, что вы говорите по-русски. Сын женился на немке. Немцы, конечно, очень вежливые. Если вы попросите, вам взвесят хоть один кусочек колбасы. Но понимаете, они — немцы. Нет, они хорошие, но... Вы не думайте, нам тут очень хорошо. У нас есть все. Правда, мы ни с кем не общаемся, но иногда заходит сын. Вот бы разок по Москве пройти... Как хорошо, что мы вас встретили, у нас сегодня праздник! — У старушки парализована рука, старичок ее нежно поддерживает. Держатся они мужественно, только когда начинаем прощаться, хлещут слезы. Стоят и смотрят нам вслед...

В «Европоцентре» теряем детей. Похолодев от ужаса, бегаем по эскалаторам в поисках полиции и, наконец, обнаруживаем не полицию, а самих детей у оружейной витрины. Огромные водяные часы, состоящие из колб и фонтанов, напоминают о поезде, и тут дети требуют бундес марки на туалет. Приходится искать темный угол, так как при обмене валюты эта услуга стоит неделю жизни семьи в Москве. В двух шагах от вылизанной центральной улицы оказывается грязь, темнота и «мерзость запустения». Пока я стою на стреме, ко мне подходит веселенький итальянец в алом кашне и приглашает выпить кофе. Объясняю, что путешествую с мужем и детьми и предпочитаю пить кофе в их обществе. На плохом, под стать моему, немецком итальянец жалуется, что ему так хреново и одиноко в Берлине, что он был бы счастлив выпить кофе со всей семьей. Объясняю, что время до поезда... Подходят Саша и дети.

— На каком языке вы разговариваете? — удивляется итальянец.

— На русском.

— Так вы русские? О, я знаю, как плохо живет-ся русским! Вы должны купить от меня детям шоколад! — сует десять марок и убегает, размахивая руками.

— Ну вот, — фыркают дети, уже развращенные за время пути подаяниями, — подошел бы раньше, мы бы как белые люди побывали в капиталистическом туалете.

На Унтер ден Линден идет гуляние, веселые толпы тусуются вокруг торгующих сувенирами поляков и итальянцев. Молоденькая девушка, торгующая булыжниками от Берлинской стены, дарит Паше кусочек. Респектабельная компания в глубоких декольте и смокингах весело развлекается с наперсточником, а потом деловито сдает его в полицию.

Карусель огней, нарядов и витрин докатывает нас до Хаупт Банхофа. С поездом нас, конечно, накололи: отправляется он, конечно, только с Западного вокзала, о чем мы узнаем за двадцать минут до случившегося, и несемся как сумасшедшие чуть не вдогонку. Вопреки прогнозам справочной тетки, он оказывается пустым. Так что миф о немецкой точности, основательности и обязательности успеваем выучить на своей битой роже.

Национальный характер, конечно, чрезвычайно важная вещь. В немецких электричках каждое место было ограничено кретинскими подлокотниками, раздражающими бодрствующего и впивающимся в ус-

нувшего. Подлокотники стояли на страже. Даже если человек ехал ночь в одиночестве, лечь спать он мог только на пол. В голландской электричке все опускается, разбирается, и пространство купе оказывается сплошным спальным местом. Потрясенные заботой конструктора, засыпаем на плащах и куртках.

Советские средства массовой информации, гнобившие семьдесят лет западный миф, с большевистским напором бросились в обратную сторону, хотя истина, как всегда, посередине. Они почти добились того, что, подъезжая к границе, советский человек начинает чувствовать себя выпускником интерната для умственно отсталых. Ему кажется, что он плохо одет, плохо воспитан, плохо образован и выглядит кретинном. Я вижу людей, проехавших всю ночь в голландской электричке, с выпрямленной спиной: видимо, считающих, что, заснув, посрамят флаг отечества.

С нами происходит обратное: будучи яростными западниками дома, мы ударяемся здесь в квасной патриотизм. Поляки кажутся нам слишком гибкими, немцы — слишком прагматичными, голландцы — слишком сытыми, англичане — слишком холодными. И все они выглядят совершенно инфантильными. Им бы всем наш семидесятилетний социалистический опыт со всеми нашими пирожками, от них бы просто следа не осталось. Русские — великая нация, если смогли все вынести и остаться похожими на людей. Не такой уж длинный фашизм изуродовал немцев больше, чем семидесятилетний геноцид наших. Германия, при всем своем великолепии, ощущается как энергетичес-

кая дыра между Польшей и Голландией. У молодых немцев лица — как у цветов, пробивших асфальт.

Каждый час сна в электричке дверь открывается, и то контролер, то таможенник, извиняясь на трех языках и включая свет, просит паспорта и билеты. Разглядев спящих детей, они обычно извиняются и исчезают. Исключение составляет пожилой немец, заставивший разбудить детей, сложить кресла и, не обнаружив никого, а там никого и нельзя было спрятать, кроме Дюймовочки, обиженно удаляется.

Интимногоголосые голландки в станционных радиоузлах мурлычат объявления, уютные станции сияют улыбками провожающих. Голландцы выглядят сказочными персонажами. После элегантно, но жестко одетых немцев и тянущихся за ними поляков голландские пелеринки, помпоны, перышки и загнутые носки сапог заколдовывают. И этот румянец во всю щеку, и глаза, спокойные, как океан. И дома из медно-коричневого кирпича с окнами такой чистоты, как будто это не стекла, а наглядные пособия. И зелень такой зелени, какой просто не бывает в палитре. И скот, разгуливающий на пастбищах, точно вымытый шампунем. И то, что везде живут. Ни одной дыры вдоль железнодорожного полотна. Ни тесноты, ни пустыни, везде одинаковый блеск и хорошие манеры. Даже в туалете электрички наркоман бросает ватку и ампулу не куда придется, а в урну.

Хук ван Холанд пахнет морем. Он весь нарисован акварелью на мокром шелке. Ничто так не передает оттенок воздуха, как слайдовая пленка. Если в Москве воздух светлый, в Ленинграде — голубоватый, на Ук-

раине — желтый, то в Голландии — мокро-бирюзовый. На вокзале вместо носильщиков — тележки. Грузись и езжай. Тяжело? Персонал и попутчики будут сражаться за возможность помочь. В Берлине ни тележек, ни носильщиков, ни помощников.

Двери станции автоматически раздвигаются, когдаходишь. К молчаливому ужасу персонала, Паша и Петя успевают войти в них и выйти раз триста. Голландские гульдены ярко-красные, зеленые, желтые, синие без всяких помпезных портретов. Веселые, как кубики. В справочном бюро не врубаются в мой вопрос «как доехать до Амстердама?» ни на английском, ни на немецком. Поменяв деньги, звоним некой Люси, хранительнице музея Святого Петра. Люси обстоятельно объясняет, что проезд до Амстердама и обратно будет стоить примерно все наши деньги. Развращенные бесплатно советских железных дорог, перекашиваемся от обиды. Ехать-то всего несколько часов! Жаль. Ну, тогда хоть Роттердам разглядим толком.

Однако к этому моменту наше невнятное поведение на станции становится событием. Дети, катающиеся на тележках с багажом наперегонки, родители, отчаявшиеся получить какую-либо информацию, вызывают у персонала сначала недоумение, потом ужас и, наконец, жалость. Из Берлина приехало человек тридцать, все на виду, и все, кроме нас, не нуждаются в опеке. Станция уютная, маленькая, у персонала лица, как будто вы приехали к ним домой. На нас бросается команда заботливых людей в форме и, щебеча, начинает запикивать нас в пароход на Лондон. Руками и глазами мы пытаемся объяснить, что хотим оставить

вещи в камере хранения и рвануть в Роттердам. Они приходят в ужас, решив, что мы заблудились и лучшее, что можно для нас сделать, — насильно засунуть в пароход по нашим билетам.

Пути два: либо, смирившись, не увидеть Роттердама, либо грубо отнять у голландцев вещи и двинуться к намеченной цели. На второе не решаемся, заглянув в искренние глаза аборигенов. Когда мы проходим таможенный контроль, голландцы, отнявшие у нас возможность увидеть Роттердам, машут руками с той стороны и сияют улыбками людей, спасших нас от верной смерти. Светлый километровый переход из чрева станции в чрево парохода шелестит движущимися дорожками. В его огромных окнах стоит огромное море. Пароход-город с шикарными ресторанами и казино везет человек сто. Зимой он полупустой, и пассажиры в первые часы успевают выучить друг друга.

В Голландии и Англии целые кварталы украинцев, эмигрантов первой и второй волны. Среди расслабленных европейцев в Лондон едет прелестное семейство из-под Полтавы. Пара бабок в плюшевых пиджаках, пара необъятных «жинок» с норковыми воротниками и пара перепуганных «чоловиков» в новых костюмах напряженно озираются по сторонам. Берем над ними шефство. Объясняем, что им полагается по билетам, а что сверх билетов, где то, а где се. Сначала они кидают на нас тяжелые взгляды: едущие из Берлина, а не из Союза, мы кажемся им шпионами. Объясняем, что недавно купили дачу на Украине, что «така гарна хата, ловкий садок, и груша е, и яблочко е, и сливка е, и орих е, а абрикоса ще молода, бо тильки посадили». Лица у

них светлеют, они наперебой рассказывают, что «едут к братьям и сватам гостювать у Лондон».

Заняв кресла во втором классе, идем бродить по лестницам. Время обеденное, и в фойе первого класса у ресторана сияют наши украинцы. На столике перед ними — нарезанное сало, лук, чеснок и т. д. Надо сказать, это меньше всего смущает шикарную публику, бредущую обедать в ресторан. Садимся за соседний столик, открываем очередные консервы, нарезаем сувенирный бородинский хлеб, достаем польскую бутылку из-под сока, наполненную голландской водой из-под крана.

— Шнапсуете? — завистливо спрашивает нас один из украинцев, кивая на бутылку.

Рестораном как рестораном вообще пользуются мало. Несмотря на иллюминированную эстраду, оранжеи под потолком, официантов, танцующих с серебряными подносами, и дам, переодевшихся к обеду в длинные платья, в ресторане абсолютно хипповая атмосфера. Основная часть бархатных диванов, обнимающих столики, занята валяющейся публикой, читающей комиксы, спящей с победным храпом, кайфующей с наушниками, вяжущей и т. д. Пара в углу даже интеллигентно пытается заняться любовью. Разноцветность публики делает мизансцену ресторана неповторимой. Сквозь задравших ноги на крахмальные скатерти негров и улыбающихся во сне японцев, молящегося мусульманина и вскрикивающего во сне немца (судя по тексту вскриков) я добираюсь до бармена с банкой сгущенки.

— Что это? — удивляется он, покрутив банку. — Мороженое? Крем? Паштет?

— Молоко. Откройте, пожалуйста.

— Почему я никогда в жизни не видел такого молока?

— Это русское.

— О! Рашн! — орет он, подпрыгивая от счастья. — Пе-ре-строй-ка! Гор-ба-чев! Спа-сибо! — и бросается обнимать меня.

Пароход идет 10 часов. Пассажиры болтаются по его огромным внутренностям, как рассыпанные бусы. Заняться нечем. Детей во внятном возрасте на всем пароходе двое — Петя и Паша. Специально для них на все видики парохода на десять часов врубают диснеевские мультфильмы. Дети ложатся на ворсистый палас в центральном холле перед экраном, и благовоспитанные украинцы шикают на них до тех пор, пока рядом с ними не ложится пожилой иностранец с профессорской внешностью.

Солидного вида люди спят на пароходе в спальных мешках в самых неожиданных местах, некоторые берут в пункте проката подушку, кладут ее на пол и укрываются курткой. Некоторым не хочется идти даже за подушкой, сунув под голову сумку, они прикрывают лицо газетой от света. Никому не приходит в голову, что на него могут наступить, правда, и никому не приходит в голову, что на человека в принципе можно наступить.

Десять часов Микки-Мауса делают свое дело. Когда на горизонте брезжит Англия, дети уже вполне невменяемы. Какое счастье, что Дисней до сих пор не

продал нам свои ленты и еще несколько поколений детей вырастет без трогательных существ, упоенно прокручивающих друг друга через мясорубку и режущих на тонкие ленточки. Канцерогенное действие видеокультуры начинается с милого Диснея, оно достойно воспитывает в детях будущих зрителей фильмов с культом насилия и жестокости. Чтобы не стать голословной, я советую любому родителю хотя бы час подряд посмотреть Диснея самому и проанализировать, на какие кнопки детского организма он нажимает в девяти случаях из десяти.

Трап больше часа не могут подогнать к пароходу, сгрудившаяся в холле публика относится к этому достойно: ни одного недовольного взгляда. Представила я себе наших в этом раскладе. Панки разлеглись на полу и дремлют, путешествующая в одиночку дама в инвалидной коляске (милое нам назидание) достала комикс, два джентльмена вытащили и водрузили на чемодан мини-шахматы. В центре холла молодая англичанка пасет годовалого ребятенка. В шапке с помпоном и босиком ребяенок топает вокруг коляски, доставая из мешка игрушки, засовывая их в рот и зашвыривая как можно дальше. Мать, спортивно одетая, но при бриллиантах, что большая редкость в Европе (то, что напяливает на себя каждый день советская продавщица, английская королева надевает только во время приемов), терпеливо собирает игрушки и ненадолго уходит. За ребенком негласно присматривают все и никто.

Когда игрушки разбрасываются в очередной раз, их собирает тот, кто оказывается ближе, и они снова

отправляются в рот. Трап, наконец, подают, англичанка сует ребенка в коляску, набрасывает на его ноги ажурный вязаный платок, пристегивает к коляске огромный чемодан на колесах, к нему другой и уезжает. Встречаемся уже у вокзала, где ребенок бросает в лужу очередного зайца, где поднятый заяц из лужи снова отправляется в рот, и меня потрясают даже не босые детские ноги, давно вытащенные из-под платка (в феврале!), а спокойное лицо матери, ни разу не заоравшей: все-таки часовое опоздание, облизанная с игрушек вся микрофлора паровозного пола и вокзального тротуара, два огромных чемодана и отсутствие встречающих.

Англия — страна, где все происходит с выключенным звуком, никто не орет, не ищет виноватых, не объясняет, что он бы сделал лучше, не проклиная день, когда появился на свет, и не заставляет других проклипать этот день.

Таможенник с внешностью академика полчаса помогает дозваниваться до нашей тети, даже звонит в справочное, которое сообщает, что номер телефона правильный, просто тетя любит поговорить.

— Мне было очень приятно помочь вам, — говорит он на прощание вместо «ну и кретины, номер набрать не могут». А поди разберись, если в Польше, ГДР, ФРГ, Голландии и Англии совершенно разные алгоритмы общения с телефоном-автоматом.

Электричка с бархатными диванами, коврами, буфетом и туалетом, оказавшись вторым классом, мчит в Лондон. На вокзале Виктория, ожидая Рональда, собственно, мы и встречаемся с Англией. Вокзал страны — это ее анализ крови, по нему вы прочтете все, что

может скрываться от вас в музеях и магазинах, парламенте и ресторане. Англия — это безупречное детство Европы с чистыми ногтями, сложенными игрушками и молитвой на ночь. Англичане абсолютно воспитаны. Мимо нас бегут, несутся, идут и семянят люди, опаздывающие на электрички. В опаздывающем англичанине больше чувства собственного достоинства, чем в русском, идущем получать правительственную награду.

Трогательно-акварельные после немок и голландок англичанки все как одна в русских платках на голове, на шее, на поясе, на ремне сумки. Англичане — одинаково серьезные и в клетчатых пиджаках, и в кожаных куртках с металлическими нашлепками, молочно-фарфоровые на фоне негров, к которым они терпимей, чем к собственным детям.

Улыбающийся Рональд сажает нас в «Форд», и Лондон, перевернутый, как в зеркале, своим левосторонним движением, плывет перед нами. Неправдоподобно одноэтажная страна. Все живут за стеклянными дверями и верандами. Не страшно? Как-то об этом не задумывались. А вот и Бекенхем, и Пнина, сияющая среди стеклянных стекол крыльца, увитого изнутри комнатными цветами.

— Где вас столько носило? Я чуть с ума не сошла! Я четвертый день готовлю ужин с фруктами, а их все нет и нет! Я уже даже звонила твоей маме в Москву! Таскать бедных детей по грязной Европе! — это уже не Англия, это уже Малая Бронная, на которой родилась Пнина.

Замечательный дом покрыт дорогими коврами.

Глаза Пнины становятся в два раза больше, когда дети начинают кататься по заковренной лестнице со второго этажа на первый. Лежа перед телевизором на полу и урча от удовольствия, Паша царапает ковер вокруг себя узорами. Увидев, Пнина чуть не падает в обморок.

— Бедные ковры, — шепчет она. — Сначала Рональд забыл кран на втором этаже и уехал в бассейн. Они вспучились, и страховая компания поменяла их на новые. Потом мы уехали отдыхать на Канарские острова, наша помощница Ингрид решила сделать сюрприз и вымыла их. И они снова вспучились, и страховая компания их снова поменяла. Что я скажу теперь? Что это кошка? Ни одна английская кошка не сделает того, что сделает русский ребенок! — Встав на четвереньки, я, Саша, Петя, Паша и семидесятипятилетний Рональд весь вечер причесываем ковер обратно. — Дорогая, ты должна запомнить английскую поговорку: «Дом — это рама для картины жизни».

Дом Пнины и Рональда, утопающий в цветах, оклеен белой бумагой и увешан картинами.

— Эти обои мы с Рональдом клеили сами, — хвастается семидесятилетняя Пнина, живущая в очень дорогом районе.

— Почему?

— Здесь, в Англии, люди гордятся, когда могут сделать что-нибудь своими руками. Вот этот абажур сделал наш Питер. Он обтянул проволоку бумагой и обклеил изнутри засушенными листьями. Не правда ли, мило? — Питер, младший сын Пнины и Рональда, — известный на всю Европу профессор-иглотерапевт.

Традиционный английский завтрак почему-то состоит из тарелки свежего молока (каждое утро на крыльце молочник оставляет полные бутылки, каждый вечер хозяйка оставляет пустые), засыпанного мюсли, из сыров, джемов и страшного английского черного чая. То, что пьем мы, да еще с лимоном, презрительно называется «русский чай».

— А как же овсянка и бекон с яйцами? — удивляюсь я по следам английской классической литературы.

— Бекон с яйцами? Это — яд! — машет руками Пнина. — Дорогая, обещай мне, что ты выбросишь сковородку!

— На чем же я буду жарить?

— На гриле.

— В советских плитах нет гриля.

— Это безобразие! Тогда запекай мясо и дичь в духовке, а жир обязательно выливай в раковину. Жарить ты должна только на оливковом масле. И если хочешь быть всю жизнь здоровой, обязательно каждый день салат из сельдерея, изюма и ананасов. До тридцати лет по человеку нельзя сказать, как он питается, а после тридцати все будет написано в его медицинской карте. Дорогая, ты поняла?

— Да, — уныло соглашаюсь я. — Особенно про ананасы и оливковое масло. Это Питер заставляет вас так питаться?

Питер — автор бестселлера «Натуральное питание».

— О, что ты! Питер говорит, что мы дикари. Питер хочет, чтоб я, как коза, целый день ела только траву. Вся семья Питера не ест мяса. Когда мы едем к

ним в гости, Рональд обязательно берет с собой бифштекс. Недавно он положил его жарить в кухне, а кошка Питера — она сошла с ума от вегетарианства — схватила бифштекс прямо с горячей плиты и потащила в сад. Рональду стало обидно, что кошке достанется бифштекс, который он вез из Бекенхема в Брайтон, он догнал кошку, отнял бифштекс, дожарил его и съел. Таков мой Рональд! Видели бы вы, как он выплясывал недавно на вечеринке!

Первое, что нам показывают, — это магазин для животных — гордость Англии. Сто видов поводков, ошейников, мисок, подстилок, клеток, консервов, погремушек и игрушек набивают крохотное помещение. Молоденькая девушка улыбается из-за прилавка; узнав, что мы русские («О, перестройка, Горбачев!»), вынимает из клетки лоснящегося кролика и предлагает детям его потискать. Мимо магазинов с вытряхнутыми на асфальт товарами, режущими советский глаз неохраняемостью, идем в парк.

— Никто ничего не крадет в магазинах, — объясняет Пнина. — Очень редко в больших магазинах туристы. Одна советская чемпионка мира в большом универсаме украла трусы и шоколадку. У выхода ее задержала полиция. Я работала с этой делегацией и пошла ее выручать. Пришла к начальнику полиции и говорю: «Сэр, у них в Советском Союзе ничего нет. Простите ее». А он, такой седой джентльмен, смутился и говорит: «Вы хотите сказать, что в Советском Союзе нет трусов? В чем же она в таком случае победила на этом чемпионате?» Конечно, мы ее выручили, но въезд

в Англию ей навсегда закрыт. Я не скажу фамилию, это слишком большой позор ее семье.

Парк пустой, прелестный, скудноватый для русского воображения, но, в общем, парк.

— Это наш Гайд-парк, здесь можно делать все, что угодно, — говорит Пнина.

— А можно я сделаю сальто? — спрашивает Петя.

— Конечно, можно.

Петя делает сальто, потом еще одно и оказывается на земле с воплем и серым лицом. Сбегаем, вытираем слезы, вправляем воображаемый вывих, подвязываем руку шарфом и движемся в продуктовый магазин, в котором Петя забывает про руку. Небольшие очереди, продукты на все буквы алфавита, все первой свежести, все упакованы, как новогодние подарки. Малыш в сидячей коляске разрывается от крика, требуя у респектабельной мамы банан, через полчаса она сдается и покупает ему упакованные полбанана.

— Разве бананы дорогие? — удивляюсь я.

— Нет. Но зачем портить ребенка! Если не будешь экономить пенсы, у тебя никогда не будет фунтов, — объясняет Пнина. Петя и Паша разочарованно получают по одному банану.

— Все могут купить себе фрукты?

— Нет. Очень плохо живут пенсионеры.

— Продукты экологически чистые?

— Чистые в магазинах «здоровой пищи», но там сумасшедшие цены. А что в этих — никто не знает, периодически бывает какой-нибудь скандал то с одной фирмой, то с другой.

— А что ваши экологи?

— Они борются. На днях объявили, что все население около атомных станций больно лейкозом. И что? Повозмущались и забыли. Тэтчер даже ухом не повела.

Около магазина — ряд женщин с магазинными тележками, набитыми продуктами. Они ждут, когда за ними подъедут мужья или сыновья на машинах.

— Советские женщины на себе еще не то носят.

— Но, дорогая, для меня всю жизнь загадка, как ваши женщины умудряются жить в таких условиях и хорошо выглядеть.

— Это никакая не английская кухня, это моя собственная кухня. Англичане не умеют готовить ничего, кроме мяса с кровью. Правильно я говорю, Рональд? — говорит Пнина после обеда.

— Ты преувеличиваешь, дарлинг, — улыбается Рональд.

Пытаюсь вымыть посуду, слава богу, хотя бы кран в кухне имеет смеситель.

— Что ты делаешь? — ужасается тетя, глядя на струю воды. — Ты всегда так моешь посуду? Ты знаешь, сколько стоит вода?

— Не знаю.

— Положи в моечную машину. Ты совсем как Рональд, он тоже любит тайком от меня мыть посуду прямо в раковине.

— У всех англичанок есть машины?

— Нет. Они набирают раковину воды, льют туда мыло. Представляешь, вместе купаются остатки пищи, хрустальные бокалы, а потом все это даже не полощется, а вытирается полотенцем. Есть даже такая по-

говорка: «полотенце съедает мыло». Дорогая, брось посуду, едем смотреть ночной Лондон. Это чудо!

Очень хочется завалиться спать и дать глазам отдохнуть от прелестей капитализма. Английские домики, такие разные сначала, за день становятся изнурительно одинаковыми, от витрин и реклам тошнит, Петя жалуется на руку, последние силы уходят на то, чтобы надеть на лицо благодарную улыбку и запихнуться в машину. Пнина и Рональд на эзоповом языке ругаются о том, что мальчика надо немедленно показать врачу и что себе думают родители, которые об этом не думают. Мы, родители, растерянно переглядываемся. С одной стороны, ничего страшного, уж как только не падали дети за двенадцать лет и ничего не ломали, с другой стороны, непонятна финансовая сторона обращения к врачу.

Вообще-то меня приглашали одну, однако кто не рискует, тот шампанского не пьет. Получив приглашение без штампа муниципалитета, я отправилась в московское посольство Англии ставить печать и, увидев, какая это бесхитростная операция, решила ее растрижировать. На красивой американской бумажке я написала французским фломастером приглашение Саше, Пете и Паше, а чтоб писулька выглядела в ОВИРе поиностранней, я изложила текст с развеселенькими орфографическими ошибками. Сотрудникам посольства же наша система виз казалась людоедской, и они спокойно ставили вам за шесть рублей штамп не только на любой бумажке, но и на лбу. Видимо, не одна я оказалась такой сообразительной, теперь этот фокус с посольством не получается. Итак, в Лон-

доне мы оказались вчетвером, к вежливому изумлению дяди и тети, да еще и нуждающимися в услугах платной медицины.

Ночной Лондон, светящийся, пестрый, тесный, чуточку неотесанный, открытый и чопорный одновременно. Дворец королевы — мрачная такая домина. Парламент, напыжившиеся памятники. Все на местах и напоминает пионерскую линейку.

— А это наш самый главный универмаг. Смотрите, он весь освещен. Эта стерва Тэтчер продала его арабам. Ее спросили в парламенте, сколько ей дали за это арабы, а она ответила, что боится утомить уважаемую публику, потому что на перечисление подарков уйдет целый день.

Пнина ненавидит Тэтчер.

— Неужели она так разговаривает?

— Тэтчер разговаривает еще не так! Мы ее называем «торговка». Она взяла несколько уроков хороших манер, но когда забывает об этом, она визжит в парламенте, как торговка. Тэтчер — это наш Сталин, она закрыла все больницы и школы для бедных, — добавляет Рональд.

— А кто Маргарет Тэтчер по гороскопу? Вы не знаете даты ее рождения?

— Нет, — отвечает Рональд, не обиженный в жизни мухи. — Нас интересует только дата ее смерти.

— Если ее застрелят, я испеку самый большой пирог в своей жизни, — добавляет Пнина. Они весьма обеспеченные люди и личных счетов с премьер-министром не имеют.

Вечером все смотрят снукер и пьют черный чай.

— Дорогая, ты должна обязательно понять правила игры, это такая прелесть! Евгений Светланов так влюбился в снукер, что, когда приезжал в прошлый раз, торопился к началу снукера и дирижировал концерт в два раза быстрее, а наша критика писала, что это новое прочтение! — Пнина окончила консерваторию, но от карьеры пианистки отказалась ради семьи и теперь работает с советской музыкальной элитой.

В отличие от Светланова я одинаково умираю от снукера и от черного чая, а потому сил моих хватает только на ванну. Израсходовав весь вечерний запас горячей воды на втором этаже — как-то, видимо, его можно пополнить, но как — спросить неудобно, да и слухи о том, что это дорого, подтверждаются, — я вынуждаю Сашу и детей лечь спать неумытыми. Ах, наши советские привычки, когда час распеваешь песни под душем или с телефоном валяешься в ванне, мало задумываясь о том, во сколько бы это обошлось. Кстати, минута телефона до шести вечера стоит столько же, сколько джинсы в благотворительном магазине. Англичане по телефону только договариваются о встрече.

— Ты очень много занимаешься своими мальчиками. Здесь так не принято. В восемь они должны лежать в постелях, чтобы родители могли запереть их и пойти куда-нибудь поразвлечься. Давай сделаем чаю, — говорит Пнина. Самое интересное во всей Англии — это, когда в гостиной на первом этаже Рональд попыхивает трубкой, Пнина мельтешит спицами, оба прихлебывают адский чифирь и рассказывают:

— Как ты, конечно, знаешь, дорогая, когда мне

было четыре года, мои родители уехали из России в Палестину. Папа был одержим идеей построения прекрасного Израиля, он был известный человек, окончил два факультета Сорбонны, был профессором юриспруденции, писал конституцию Израиля. Он был членом Совета мира ООН, призывал жить в любви с арабами и поднимать их культурный уровень. Он был романтик, тогда в Израиль ехали только романтики. Это теперь понаехало быдло, которое, услышав звон денег, сразу вспомнило о еврейской крови. Уже моя мама говорила: «Они сделали из Израиля Тишинский рынок». Какое счастье, что папа не дожил и не увидел этого. Я росла в русской среде в Израиле. Жизнь была непростая, папа писал книжки, но мы всегда были бедными. А потом все время стреляли. В Израиле несколько поколений людей выросли при стрельбе, я не могу считать этих людей нормальными. Представляешь, например, какой-нибудь богатый еврей празднует свадьбу единственного сына, сажает гостей и слуг в самолет, летит в пустыню, накрываются столы, и тут появляются арабы. Я только один раз посмотрела на невесту в окровавленном платье, и мне уже больше ничего не захотелось. Я не чувствую себя дома в Израиле и в Англии тоже. А Россия — вообще страна сумасшедших, которые все время изыскивают способ сделать жизнь хуже. Однажды в Израиле я возвращалась с подружкой с вечеринки последним автобусом, остановка была около дома, но почему-то захотелось выйти на следующей, захотелось, и все, и мы поехали дальше. Я пришла домой, мама встретила меня наполовину седая. Когда автобус отъехал от остановки, арабы из кустов

уложили всех, кто приехал, автоматной очередью. Мама знала, что я еду этим автобусом, она видела силуэты падающих людей из окна и собиралась идти искать мой труп. В Израиле все живут сегодняшним мигом, они знают, завтра может не быть.

— Где вы познакомились с Рональдом?

— Как где? Он же приехал нас завоевывать! — аж подпрыгивает Пнина. — Он же англичанин! Колонизатор!

— Пусть все колонизатор будут такие колонизатор, как англичане! — обижается Рональд. — Я окончил университет, я был лингвист, я хотел иметь работа с иностранными языками. Я стал обыкновенный офицер британской разведки.

— Он в меня влюбился, дорогая, но моя мама и слышать об этом не хотела, — далее следует английское выяснение отношений по поводу того, кто в кого первый влюбился, и, конечно, про маму. — Рональд был коммунист, но кого интересуют твои убеждения, если на тебе форма офицера британской разведки. Папа относился к этому демократично, но мама, она была главная, она все время хотела вывести Рональда на чистую воду. Но Рон тогда еще не говорил ни по-русски, ни по-еврейски, а мама не знала больше никаких языков. Потом Рон, конечно, ради мамы выучил и русский, и еврейский, но сначала они выясняли отношения на пальцах. Тут приезжает младший брат Рона, простой солдат, к нему у мамы было больше доверия, и она решила выяснить истинные убеждения Рональда. Она собрала все свое знание английского и спросила: «Рональд коммунист? Ноу?», что означало «Ну, при-

знайся же мне, наконец, коммунист ли Рональд». А младший брат не знал, какой именно ответ может навредить нашему браку, и он, как истинный англичанин, ответил: «Рональд коммунист? Ноу?», что означало «Вы спрашиваете, коммунист ли Рональд? А разве нет? Впрочем, может быть, и нет. Но почему вы с вашей проницательностью спрашиваете меня?» Мама обиделась и махнула рукой. Чтобы жениться на мне, Рон сразу перешел из отдела разведки в отдел образования, они начали открывать в Израиле школы европейского типа. Но у него был огромный комплекс вины перед евреями, ведь англичане в них стреляли, и тогда он решил принять еврейство. Да, да, он совершил все необходимые ритуальные процедуры. Рон вообще не такой, как все, он святой человек. Мы поженились и сразу уехали в Лондон. Мои родители были такие заботливые, что они никогда не дали бы нам жить, будь они рядом. Сначала мне было невыносимо в Англии, меня как будто достали из сладкого компота и сунули головой в мороженое. Да, да. Постепенно я привыкла, но знаешь, за пятьдесят лет я не приобрела в Лондоне ни одной подруги. Они вообще не понимают слова «подруга», — грустно вздыхает Пнина.

Дети, дерущиеся на втором этаже подушками, прерывают этот рассказ.

— Петя, Паша, вам нравится здесь?

— Ничего, только все время хочется есть. И рука болит.

Решено, утром идем к врачу. Запихиваемся в машину, едем в Бромли, ближайший травматологический пункт — не ближний свет, я вам скажу. Ободран-

ная поликлиничка, автомат в фойе дает кофе, сок, жвачку. Куча журналов, невключенное видео, потому что лень включать. Медкарту заполняют на компьютере, ну, сейчас нам окажут капиталистическую помощь.

Заходим и столбенеет: народу больше, чем у нас в травмпункте. Очередь тиха и статична. Возле нас молодой парень сидит, закинув голову вверх, из носу у него не то чтобы хлещет, но все-таки льется кровь. На полу лужица крови. Ее периодически вытирает девица в черных колготках и свитере с сердобольным, густо-накрашенным взором, нянечка по-нашему. Рядом еще один, видимо, после аварии, на ногах лоскуты кожи и пятна ожогов. Сидит тихо, как коммунист под пыткой. Приносят на руках девочку с переломанной ногой, тихо, как индейцы на охоте, садятся в очередь. Проходит час. Сидят по-прежнему, как в палате лордов, ни одного страдальческого взгляда.

Наконец нас вызывают. Кабинет до потолка оклеен развлекательными обоями, в кресле сидит плюшевый медведь с меня ростом. Медсестра крутит Петину руку.

— О, здесь что-то серьезное! Это необходимо показать врачу. Сядьте в очередь, вас вызовут.

Еще час в очереди. Вызывают. Врач, пэтэушного вида девочка в тертых джинсах, крутит Петину руку.

— О, кажется, здесь что-то серьезное. Необходимо сделать рентген. Сядьте в очередь на рентген, вас вызовут.

Еще час. Вызывают. Рентгенолог печально смотрит на Петю.

— О, это очень серьезно. Сядьте, подождите, пока снимок высохнет. Вам его принесут.

Садимся. Ждем. Приносят снимок.

— Сядьте, пожалуйста, снова в очередь к врачу, он должен посмотреть снимок.

Садимся в очередь. Ждем. Вызывают.

— О, я так огорчена! Это действительно очень серьезно, это похоже на перелом ключицы. Сядьте, пожалуйста, в очередь к медсестре, она окажет вам помощь.

Садимся, ждем, вызывают. Сейчас бедного Петю загипсуют от щиколоток до ушей. Медсестра снимает с Петиной руки шарфик и подвязывает вместо него полотняную повязку с фирменным знаком. Ослепительная улыбка.

— Мы так рады, что смогли вам помочь.

Я с трудом сдерживаю матерные выражения, а Пнина говорит совершенно серьезно:

— Ну вот, ты видишь, какие они милые и заботливые. Теперь все будет хорошо.

Я понимаю, что мы просто попали на другую сторону планеты, где живут, как говорила Алиса, «антиподы».

Кстати, прилетев в Москву, отводим Петю в районный травмпункт, пьяный травматолог с порога орет:

— Типичный перелом ключицы! Почему сразу не загипсовали? Скажите спасибо, что он растет, иначе одно плечо стало бы выше другого! Какие козлы лечили ребенка?

В Англии все время говорят о погоде. Ее заклинают, как злого духа. Она глумливо меняется каждые

пять минут. Житель нашего глобального материка чувствует себя одураченным в островной энергетике: солнце, дождь, снег, град, ураганный ветер и тут же опять солнце. Переодеваться надо каждые пять минут. Дети побежали по солнышку в магазин тропических рыб, вернулись под градом. Более измученный Петя через пару часов выдал температуру сорок. Сбиваю лекарствами, слава богу, с собой привезла, — не сбивается.

— Я бы хотела вызвать «Скорую помощь», они вколят анальгин, — прошу я Пнину.

— Дорогая, у нас не вызывают в таких случаях «Скорую помощь». Сажай его в машину, поедem к врачу.

— С такой температурой?

— Ну и что?

— Для чего тогда вообще ваша «Скорая помощь»?

— Ну, если она приезжает, а человек недостаточно болен, приходится очень дорого платить. Вообще здесь болеть непопулярно. И скажи, зачем ты ему так часто ставишь термометр?

— Чтобы проследить динамику.

— Зачем тебе динамика? В Англии вообще нет термометров.

— Как это нет? Я сама видела в магазине для животных.

— Ну, так это же для животных.

Я осталась бы с впечатлением, что надо мной издеваются, если бы не история, поведенная мне одной знакомой, водившей Пнину к престижному домашнему врачу. В Лондоне мокро, как в бане. У них даже есть

понятие «горячий шкаф» — кладовка с отоплением, чтобы не портились от сырости белье и одежда. Итак, в эдакой мокротё семидесятилетняя леди с пневмонией приходит к врачу.

— Знаете, сэр, кажется, у меня снова пневмония.

— Да, мэм, это прослушивается. Вы правы. У вас снова пневмония — это очень неприятно. Хотите кофе?

— Благодарю вас, сэр, я не хочу кофе. Что же мне делать?

— Главное, не огорчаться. Это обязательно пройдет. Как поживают ваши прелестные внуки?

— Благодарю вас, сэр, они здоровы. Может быть, мне поставить банки?

— Банки? Русские банки? Это варварство. А как поживает Рональд? Он по-прежнему активный лейборист?

— Да, сэр. А можно я...

— Не волнуйтесь. Все будет хорошо. Вот счет. Рад был вас повидать.

Утро. Все ушли, я вдвоем с Петей и телефоном, по которому никого нельзя вызвать. Температура опять сорок, меня трясет от ужаса и беспомощности, кормлю его лошадиными дозами таблеток. Он засыпает. Слоняюсь по дому, выхожу на улицу, у дома напротив два молодых парня кладут бетонную плиту к порогу дома, смотрят на меня английскими глазами, улыбаются. Хочется словом перемолвиться. Ну да где там! Я знаю, что они мне скажут, они скажут: «Какое солнце, не правда ли? Но скоро может быть дождь или ветер». Роботы! Больше на всей улице ни души. Как будто броси-

ли нейтронную бомбу. Хоть бы одно русское слово! Нахожу в библиотеке книгу Марины Влади о Высоцком, от которой шарахалась в Москве, как от воплощенной пошлости. Читаю описание первой встречи в ресторане ВТО. Ресторан ВТО... Улица Горького... Замечаю, что уже давно не читаю, а плачу и начинаю рыдать. Тут приходят все, в ужасе кидаются ко мне.

— Что с Петей?

— Ему лучше, он спит.

— Что же тогда случилось?

— Хочу домой.

— Дорогая, ты должна взять себя в руки.

— Не могу.

Режу ананасы в салат, шмыгаю носом.

— Дорогая, я тебя прекрасно понимаю, — говорит Пнина. — Я вырастила в этом доме Алана и Питера. Рональд приходил поздно. Он был директором колледжа и активным коммунистом. О нем каждый день писали газеты. С нами никто не разговаривал, мы были для них коммунистами. Даже одноклассники мальчиков сторонились их. Всю цену английской терпимости я узнала на собственной шкуре. Выскочишь иногда на улицу, а там ни души, не с кем словом перекинуться. Хоть волком вой. Я и сейчас, чтоб поделиться, езжу летом в Израиль. Здесь выслушают, сделают понимающее лицо, но это только лицо, потому что здесь не принято делиться. Понимаешь, здесь принято о погоде, о собаке, о бизнесе.

Утро в Лондоне чуть-чуть призрачное, светлое, акварельное. Туманы остались для нас таким же мифом, как бекон с яйцами и овсянка. Проснуться невозмож-



«Воспоминания моей бабушки о карусели истории».



«Мальчик прислушивается к звукам истории
при посещении Средних веков».

но, если б не Пнинино: «Приехать в Англию и спать до десяти! Ужас!», спали бы до двенадцати. Выйдя из спальни, натыкаюсь на глубоко декольтированную леди в бархатном комбинезоне, густой косметике и босиком. Она натирает бархатными бумажками витражи у лестницы.

— Гуд монин! — кричит она, потом что-то чрезмерно быстро тараторит, показывает мне часы, бумажку для натирания витражей и фотографию каких-то молодых людей. Не успев понять ни слова, я изо всех сил улыбаюсь и смываюсь в спальню. На разведку идет Паша как наиболее англоговорящий.

— Она спрашивает, как Петина рука, говорит, что скоро придут Пнина и Рональд, и показывает фотографию своих детей, — сообщает он, вернувшись.

— А кто она?

— Не знаю. По крайней мере, у дома стоит «Мерседес». Она приехала на «Мерседесе».

— Паша, а что лучше, «Форд» или «Мерседес»?

Сыновья окидывают меня презрительным взглядом.

— Конечно, «Мерседес».

Помня, что о жизненных успехах англичанина можно судить только по его району на визитке и марке его машины, начинаю строить уравнение. Значит, это важная птица. Видимо, приехала по делу. И эта птица протирает витраж? Впрочем, в Англии все возможно, видимо, у нее мания чистоплотности. Значит, я должна подать ей чай или кофе. Или что у них подают в это время? Вообще-то пора завтракать, но неудобно лезть в холодильник в отсутствие Пнины. И потом, у них

ведь в Лондоне кормят только приглашенных. Вчера зашла семидесятилетняя соседка, мы пили чай с пирожными. Ей не предложили ни пирожных, ни чаю. Ей даже не предложили сесть, она щебетала, примостившись на неудобном краешке дивана. Когда она ушла, Пнина сказала, что это ее лучшая соседка и приятельница.

Придется допросить даму в комбинезоне, приглашена ли она. Почему она босиком? Впрочем, множество англичан свихнуто на оздоровлении, одна богатая приятельница Пнины и Рональда сто дней голодала под наблюдением дорогого врача дома, после чего умерла под наблюдением дорогого врача в больнице. Так что босые ноги в феврале сами по себе еще не показатель ничего, кроме богатого безделья. Представляю, как она сидит босиком в своем «Мерседесе»!

Чтоб не сделать неучтивости, я отсиживаюсь до прихода Пнины в спальне. Пете уже лучше, он напихал рот жвачкой, а постель — альбомами по искусству, которые стоят здесь астрономические деньги, и потому все состоятельные дома забиты ими. Кроме воспоминаний о Высоцком, в доме всего одна книга на русском: ЖЗЛовская биография Оливера Кромвеля с автографом автора. В первые дни дети прочитали ее трижды.

За русскими книгами надо ехать в центр Лондона, да они и не по карману. В букинистической лавке на меня смотрят так, как будто я попросила живую змею, а потом предлагают книгу на французском о Болгарии. Понимаю, что у них смутные представления о разнице между Россией и Болгарией, но все равно обидно. Рональд рассказал о гастролях узбекского танцевального

коллектива, проехавшего через всю Англию с афишей «Русские танцы». Для них русские — все, которые там и еще до вчерашнего дня грозили бомбой.

Два милых парня в пабе обиженно спрашивали у нас с Сашей, почему мы тратим столько денег на вооружение. В ответ на попытки объяснить суть тоталитарного режима они возмущенно требовали, чтоб мы передали их мнение лично Горбачеву. Если любой русский знает, что Шерлок Холмс и лорд Байрон принадлежат английской культуре, то для основной массы англичан Россия — это бутылка водки и автомат Калашникова.

— О! Как можно приехать в Англию и спать до двенадцати! — наконец раздается на первом этаже.

Я кубарем скатываюсь по лестнице. Пнина разгружает сумки на кухне. Дама возится в столовой.

— Кто это? — недоумеваю я, потому что Пнина не спешит нас знакомить.

— Где? — теперь уже недоумевает она.

— Леди в столовой.

— Это? Это же Ингрид!

— Кто такая Ингрид?

— Ну, как это сказать, она мне помогает.

— В каком смысле?

— Она чистит. Понимаешь, не убирает, а только чистит. Ковры, стеклянные двери, витражи, ванны и туалет. Но если я оставляю грязную посуду, она не притронется ни за какие деньги.

— Так это домработница?

— Да. Помощница. Ингрид наш друг, она столько

лет нам помогает. Она ужасно бестолковая, я часто все за нее переделываю, но я к ней привыкла.

— И сколько вы ей платите?

— Три фунта.

— Три фунта? Зачем ей три фунта, если она приехала на «Мерседесе»?

— Да, у нее богатый муж, очень богатый. И взрослая дочь занимается серьезным бизнесом.

— Так зачем она чистит ваши ковры?

— Как это зачем? — глаза у Пнины становятся круглыми. — Ей скучно. Она любит нас. И потом, человек должен работать. Это так приятно.

— А какой у нее дом?

— У нее роскошный дом.

— А кто там чистит ковры?

— Не знаю. — Пнина застывает. — Я как-то об этом не задумывалась. Ингрид! — кричит она и спрашивает по-английски, — Дорогая, она говорит, что вызывает из фирмы. Конечно, это может показаться смешным.

Я чувствую себя турком, помещенным в ткань европейского романа, чтобы оттенять несуразности западных представлений.

— А почему она убирает в бархатном комбинезоне и босиком?

— На шпильках убирать трудно. А что касается комбинезона, дорогая, у нее всегда было плохо со вкусом.

Пете лучше, мы оставляем его на Пнину. Вспомнив о прелестях советской легкой промышленности, находим благотворительный магазин для слепых.

Деньги из этого магазина идут в фонд лондонских слепых. Люди приносят в магазин все, что им не нужно, и это оценивается по символическим ценам. Здесь можно найти новую одежду, старую обувь, партии бракованных товаров, бывшие в большом употреблении игрушки и пластинки. За прилавком не продавцы, а дамы из благотворительного общества. В магазин ходят самые бедные, самые скупые, желающие помочь слепым, и советские туристы.

В атмосфере подчеркнутой предупредительности посетители долго рассматривают вещи, которые стоят в соседних магазинах в сто раз больше, выбирают какой-нибудь газовый шарфик или ремешок, по цене которого рядом висит вечернее платье, и уходят с торжественным лицом и красивым пакетом фирмы.

Бросаюсь к прилавку с советским темпераментом, и когда на нем вырастает гора отобранных вещей, дамы за прилавком буквально по слогам переспрашивают, действительно ли я буду все это покупать или просто чего-то не поняла в условиях работы магазина. Они подозревают меня в чрезмерном благотворительном усердии по отношению к слепым, но после того как Паша покупает себе небьющуюся чашку и самодельное ожерелье из речных ракушек, которое на самом деле ничего не стоит, а олицетворяет высокий благотворительный порыв такого же английского Паши, они понимают, что имеют дело с семьей сумасшедших, и, как истинные леди, становятся еще вежливей.

— Это отличные вещи, — говорит Пнина, рассмотрев покупки.

— А почему же вы ничего не покупаете в этом магазине?

— Это не совсем прилично. Кто-нибудь может увидеть, что я вошла в этот магазин. Англичане, даже самые бедные, предпочитают дорогие вещи. Дорогая вещь — это дорогая вещь.

— Пнина, а вы помните, как я вас водила на экскурсию в «Детский мир»?

— Не напоминай, ради бога. Я старый человек, я с трудом осталась жива. Я еще могу понять, что можно отстоять двухчасовую очередь, хотя, конечно, сама никогда не пробовала. Но я бессильна понять, как можно надевать на детей то, за чем они все стояли. Мы с Петей так хорошо провели время. Я его все время кормила, он был такой счастливый. Как хорошо, когда в доме дети. Я так редко вижу своих внуков.

— Но почему?

— Не забывай, мои невестки — англичанки. Здесь не принято возиться с внуками. Их видят на праздники. Невестки считают, что я порчу детей. Нам их дают только, когда мы едем отдыхать в экзотические страны. Это такой праздник, когда мы вместе с ними!

Когда Петя выздоравливает, вчетвером отправляемся на рынок «Петикоут Лейн». Лондонцы зовут его «рынком нижней юбки», считается, что в начале рынка с вас незаметно снимают нижнюю юбку, которую в конце рынка вам же и продают. Однако это тоже миф. После рынка Ружевица английский рынок — просто институт благородных девиц. Целый город лотков, киосков и магазинчиков, чем только не украшенных, на-

селенный физиономиями всех рас, мастей и типов, возгласами всех тембров и акцентов, предлагает вам то же, что и магазины, только подешевле. Душераздирающей экзотики, если не считать продавцов, нет. Похоже на балаган и динамично, как мультфильм. Особенно трогает терпимость и восторженная нежность любой безупречной леди к любому безработному, национальность и возраст которого трудно определить, потому что последний раз он мылся в детстве.

Никакой санскрит не нужен, потому что все прикидываются иностранцами, чтоб подороже продать и подешевле купить. Диалог происходит на пальцах и фунтах. Грохот, как на птичьем базаре. У входа беснуется ансамбль латиноамериканцев в свекольных пончо. Пожилой человек в таком же пончо собирает для них деньги. Подходит и обнимает одной рукой меня, другой — толстую веселую вьетнамку или японку.

— Как тебя зовут? — спрашивает он ее.

— Мария, — отвечает она.

— Откуда ты приехала?

— Из Индонезии.

— А тебя? — спрашивает он меня.

— Тоже Мария.

— А откуда ты приехала?

— Из Советского Союза.

— Я всегда говорил, что Мария — самое красивое женское имя, — говорит он и идет дальше со своей шляпой, полной разных, разных денег.

Во всей праздничной неразберихе есть огромная неправдоподобность сочетаемости всех со всеми. Начинает казаться, что, когда весь мир устанет от игры в

государственность, он превратится в рынок «Петикоут Лейн», в котором под предлогом торговли люди будут собираться, чтоб улыбаться друг другу.

Вдруг начинается ураган. Настоящий ураган. Англичанам к этому не привыкать, но мы столбенеем, видя мгновенно поднявшиеся в воздух пестрые футболки и рекламные плакаты. Торговцы вцепляются в еще не улетевшие вещи, народ, визжа, бросается в рукава лабиринта, гудя, врываются фургоны, падают складные металлические ставни витрин и пристегиваются к асфальту замками. На глазах происходит немедленная эвакуация, за десять минут рынок пустеет (у нас бы так реагировали хотя бы на землетрясения), остается только скелет, остовы тентов, жерди и доски прилавков, пестрые пластмассовые ящики и вешалки, непарная обувь, ленты, цветастые обертки, фрукты, которые нельзя будет продать завтра, и хмурые нищие, прибирающие это к рукам в фирменные пакеты.

Мы убегаем, хлещет сумасшедше холодный дождь, ребенок после болезни, мы очень боимся за него, но не можем сообразить, как добраться до места, к которому за нами подъедет Рональд. Надо позвонить, но нет мелочи. Молодой человек, продающий билеты в метро, ослепительно улыбаясь, предлагает обратиться за помощью к прохожим. Человек пять прохожих, ослепительно улыбаясь, извиняются, объясняя, что у них нет с собой денег для такого крупного размена. Ничего себе крупного — речь идет о пяти фунтах. То ли это квартал нищих, то ли квартал психов. Неловкость ситуации растет с каждой минутой,

чтобы справиться с ней, мы берем такси, которое в переводе на джинсы стоит... лучше не вспоминать.

— Понимаешь, Маша, — объясняет Рональд, — англичане не любят менять деньги на улице. Только в банке. Они боятся, что им подсунут фальшивые деньги.

— Неужели мы, стоящие с промокшими детьми, похожи на фальшивомонетчиков?

— Англичане бережливы.

— Хорошо, если они так трясутся за свои пять фунтов, неужели нельзя просто так дать монетку позвонить, это же не деньги.

— У нас не принято давать деньги.

Как-то вечером я, Саша и Рональд отправляемся в паб. Паб — такая уютная пивная, где можно поиграть в шахматы, посмотреть телевизор, почесать языки. Пожилые джентльмены и панки, дамы и студенты мирно соседствуют за столиками, а чучела птиц — с поп-артом на стенах.

— Извините, — обращаются к нам с соседнего столика два дюжих молодца, — на каком языке вы разговариваете? Мы поспорили.

— На русском. Кто из вас выиграл?

— Никто. Мы никогда не слышали русского. Можно с вами познакомиться? — они перебираются за наш столик и задают сразу столько вопросов...

— Нет, вы — не русские, — резюмируют они. — Русские — не такие.

— Вы что, никогда не видели русских?

— Видели по телевизору. Вы для русских слишком хорошо одеты и слишком симпатичные. Русские

должны быть такие суровые люди в тяжелых пальто и больших шапках. Нам очень нравится Горбачев. А вам?

— Как говорят у вас в Англии, «смотреть на Тэтчер и жить при Тэтчер — разные вещи». Нам меньше нравится Горбачев.

— Объясните, почему «Макдоналдс» пользуется у вас таким спросом? Ведь «Макдоналдс» — это плохой тон, это самое низкое качество пищи.

— Видите ли, у нас вся остальная еда еще хуже. Они недоуменно переглядываются.

— Скажи, тебе действительно приходилось целый час стоять в очереди за продуктами? — спрашивают они меня.

— Иногда мне кажется, что вся моя жизнь прошла в очередях за продуктами, — признаюсь я.

— А сколько стоят в Союзе твои кожаные брюки? — не унимаются они, пытаясь вывести меня на чистую воду.

— Это подарок, — отшучиваюсь я. Не могу же я сказать, что это хорошая подделка под кожу.

— А какой марки ваша машина?

— У нас нет машины.

— Как же вы передвигаетесь????!!!!!!

— На метро и автобусе.

— Но ведь это дорого и неудобно.

— Нет, это дешево и неудобно.

— Чем ты занимаешься и сколько зарабатываешь? В переводе на фунты, — спрашивают они Сашу.

— Я — певец. А в фунты это перевести трудно. — Еще бы не трудно! Если по курсу черного рынка, то по-

лучается примерно десять порций лондонского мороженого или пять минут на такси. После такого перевода они решат, что над ними издеваются, и уйдут обиженными.

— Ты — певец, значит, у тебя очень много денег. У Джона Леннона было очень много денег.

— Я пою оперную и церковную музыку. За это не платят много денег.

— А зачем ты ее поешь?

— Мне нравится.

— Нравится быть бедным?

Они удивляются нашему хохоту.

— У нас к вам серьезное деловое предложение. Мы оба торгуем пивом. Давайте работать вместе в Союзе. Откроем в Москве паб, а вы будете у нас в пас, — продолжают они.

Тут мы просто умираем от хохота.

— А петь тоже будем во время уик-энда. Выпьем и будем петь. Нет, вы прикидываетесь русскими. Для русских вы слишком веселые, — говорят они на прощание.

— Они что, с Луны свалились? — спрашиваем мы у Рональда, когда они уходят.

— Девяносто процентов британцев представляют себе русского медведем в ватнике, всегда пьяным и с ружьем.

Я прошу у Рональда, чтоб он стрельнул сигарету, он обходит стойку вокруг, покупает пачку сигарет, достает одну и выбрасывает остальное в мусорницу. Я случайно вижу это в зеркале.

— Вот сигарета, — сияет он, вернувшись. — Я

как раз встретил приятеля и, как ты говоришь, выстрелил у него сигарету. — После истории с разменом денег ему неловко за неотзывчивость англичан.

Днем улыбки на улице у англичан более или менее машинальны, к вечеру они распускаются, как ночные цветы. В сумерках британцы оттаивают. В первые дни, когда идешь по улицам, никак не можешь прийти в себя. Пожилые, юные, белые, желтые, черные, смуглые, богатые, зажиточные, нищие, идущие навстречу, окатывают вас глазами такой волной нежности, что у советского человека щиплет в носу и близко-близко к ресницам подбегают слезы. Большинство из нас не получало таких открытых и светлых улыбок от собственных матерей. После этого понимаешь, что тебя обманывали всю жизнь, не в политике, не в экономике, а именно в этом, не осязаемом пальцами месте.

— Видишь ли, дорогая, — говорит Пнина, — есть поговорка: «Англичанин будет с тобой мил и любезен, пока тебе ничего от него не надо». Здесь есть вещи, к которым я не привыкла за пятьдесят лет. Например, ребенок должен выйти из дома, достигнув восемнадцати лет, чтобы стать самостоятельным. Он ищет себе комнату, даже если у родителей замок, и выживает в одиночку. Если он не стал наркоманом и с ним ничего не случилось, он строит свою семью, и потом он никогда не берет к себе стариков. Родителям в Англии звонят по телефону, редко навещают, когда они становятся беспомощными, по телефону же заказывают перевозку в дом старости. И дети снова звонят, теперь уже туда, и снова навещают на рождество и день рождения. Я, например, никогда не забуду своих бабушку и

дедушку, но в Англии я не могу быть нормальной бабушкой. Видишь, я вяжу шапки Роберту и Алексу; я, конечно, могу купить их, но мне хочется, чтоб на них были шапки, в которые я вложила немного тепла.

— А почему Питер и Алан не остались в Лондоне?

— У нас нет такой любви жить в столице, как у вас. В Англии — везде столица. Видимо, у них осадок от того, что они были дети коммуниста и от них все шарахались. Жаль, что, когда мы умрем, они продадут этот дом, где выросли, где бегали по саду, и сюда въедут чужие люди. Давай не будем о грустном. Пойдем готовить ужин.

Кухня у Пнины гораздо меньше моей, стеклянная дверь выходит в сад со спины дома, через эту дверь она выбрасывает в специальное ведро пищевые отходы. Что за охота возиться? Ведь в любом магазине есть удобрения в изысканной упаковке.

— Это не то, дорогая, это совсем не то. В подтверждение я скажу тебе, что у нас самые красивые розы на всей Прайори Клоуз.

Английские садики восхитительны. Англичане через сады обращаются к прохожим. На мокром капризном острове они умудряются выращивать такие тропические изыски, что все они поначалу кажутся ненатуральными. Запущенный, неподстриженный сад подвергается штрафу. Таможня не позволит провести вам ни веточки, ни листика, ни цветочка — вдруг вы завезете флоре Британии какую-нибудь гадость. Английский пароход через пролив населен искусственными цветами в горшках с привкусом мертвечины, такой приметной в теплом облаке моря.

Если вы привезли кошку или собаку, приготовьте мешок фунтов на содержание ее в двухмесячном изоляторе со всеми удобствами. Людям хоть чуму везите. На животных здесь двинуто, даже такая заядлая собачница, как я, недоуменно разглядывала на самых жалких шавках ошейники по цене дамского пальто. В Англии рассказывают анекдот о том, как безопасней всего переходить дорогу: в Италии это надо делать под руку с красивой женщиной, в Америке — с ребенком, в Германии — с автоматом наперевес, в России — обнявшись с пьяным, а в Англии — с собакой на поводке.

Что касается дорог, то левосторонность уличного движения создает ощущение, что машины едут на тебя слева, справа, сверху и снизу, и немало туристов остается под колесами.

Итак, кухня Пнины, в которой рабочие поверхности столов выложены керамикой, чайник свистит и выключается самостоятельно, машина моет посуду, другая — стирает белье и выплевывает его сухим, плита с фарфоровыми конфорками, вообще не нуждается в обществе хозяйки (знаешь, дорогая, я сунула в семь утра курицу в духовку, набрала программу, чтоб она жарилась с семи до восьми вечера, к приходу гостей она будет в кондиции). Кажется, в такой кухне, собственно, и делать-то нечего. Ан нет, для европейской хозяйки тут и начинается работа. «Пожалуй, этот салат будет лучше вон с тем майонезом. Да нет, не с тем и не с тем, вон с тем — розовым, какая ты непонятливая. Учись, дорогая, этот десерт называется «пустячок», он очень простой: заливаешь свежую клубнику взбитыми сливками, засыпаешь тертыми орехами, заливаешь

сверху растопленным шоколадом и суешь в морозильную камеру за час до подачи. Поняла?»

Остатки блюда после еды раскладываются по фарфоровым чашкам и закрываются сверху клеящейся пленкой. «Как? Ты живешь без клеящейся пленки? Чем же ты закрываешь еду? Крышками? Это неудобно и негерметично. Я подарю тебе рулон бумаги. У тебя нет машинки для выжимания лимона в салат? Как же ты его выжимаешь? У вас нет лимонов? Я не понимаю, что ты хочешь этим сказать. В Англии тоже не растут лимоны. Дорогая, надо быть изобретательней: если у тебя нет под рукой лимона, возьми киви. Что такое киви? Ты издеваешься? Ты никогда не видела киви? Этого не может быть!»

Петр и Павел относятся к тому поколению, которое никогда не видело фиников. «Вдоль по Африке гуляют, фиги, финики срывают», — довольно туманное для них описание, в котором внятно только слово «фиги», и то в его советском понимании. Вид фиников приводит их в восторг.

В Англии все время хочется есть, мы с Сашей держимся, но детям тяжело. Они сметают все со стола и вежливо встают с голодными глазами. В чемодане лежит мешок с гренками, и всякий раз, отобедав, дети дерутся из-за него. Пнина выкладывается полностью, но разноразной русских и английских представлений о еде так велик... Англичане при всей своей пунктуальности пропускают обед, предпочитая ему ранний ужин, и наоборот. Ужасно неловко перед детьми, но не могу же я намекать тете на разницу наших кухонных запросов.

Около магазина тропических рыб обнаруживаю

китайскую закусочную, где за пятьдесят пенсов можно купить кулек жареной картошки. Китаец, расцветая, как георгин, пытается мне всучить еще жареной рыбы, но я боюсь, что не смогу незаметно пронести в спальню детям на второй этаж еще и рыбу. Машу руками, китаец извиняется. На следующий день мы встречаемся радостней, чем родственники. Я кажусь ему нищей, почему-то хорошо одетой эмигранткой, и с каждым разом он насыпает мне все больше и больше картошки.

Если вы едете по Лондону рано утром или поздно вечером, вы видите людей, спящих на асфальте, подложив под себя картонку и прикрывшись такой же. Молодые, пожилые, женщины, мужчины. Зрелище жуткое. Это не наши бомжи, это люди, с которыми что-то недавно случилось.

— Это бывает, дорогая, с самыми обычными людьми. В Лондоне есть ночлежки, но ведь еще надо иметь достаточно денег, чтобы доехать до них на нашем метро. Я знаю истории, когда люди оказывались на асфальте, серьезно заболев. Я говорила, здесь непопулярно болеть. Люди, которые говорят о своих болезнях, — несносны. Их перестают звать в дома. Конечно, иногда хочется поныть и пожаловаться, и тогда я лечу в Израиль или в Россию. Вообще, скажу тебе честно, если бы я не работала все время с советскими туристами, я давно бы сошла с ума.

Телевидение в Англии скучное, оно ориентировано на домохозяек, пенсионеров и школьников. После наших политизированных и интеллигентских передач — просто смертный сон. Ничего, думаю я. Завтра в видеотеке наберу кассет с хорошими фильмами. Ви-

деотека работает чуть ли не круглосуточно, в ней есть пластмассовый городок для детей, кресла, музыка, уют и изобилие садо- и порнокассет с зазывными кадрами на обложке. От разнообразия и того и другого через пять минут начинает тошнить. Вполне интеллигентные люди набирают по огромному пакету кассет и уходят с умиротворенными глазами.

Девицы потрясенно переглядываются, когда я спрашиваю, нет ли у них киноклассики. Это бывает в учебных заведениях, в которых изучают историю кино, говорят девицы. Им очень неудобно, но к ним никогда не поступает таких заявок, но зато они могут мне предложить самые свежие поступления, и я непременно останусь довольна. Из-под прилавка (я тоже думала, что в Англии нет понятия «из-под прилавка») они достают мне две кассеты. На обложке одной из них ниндзя, жующий негритянскую ногу, на другой — дива, совокупляющаяся сложным способом с насекомым большого роста. Кисло улыбаясь, я благодарю их.

Советского туриста любят казнить за тряпочный ажиотаж, и напрасно. Книжку вы не купите — дорого. Том Кастанеды, вокруг которого я облизывалась, стоил как два простеньких видика. Кассет с хорошими фильмами нет в продаже совсем, симфоническая музыка на пластинках — по цене подержанных автомобилей. Театр европейский мы видим в Москве, да и не то чтобы он особенно отличался от нашего в лучшую сторону. Конечно, постановочные возможности заслуживают многого, но что касается Бруков и Стреллеров, то их плотность на один квадратный километр западных земель гораздо ниже, чем мы видим из Мос-

квы. Да и джентльменский набор спектаклей, от которых наша театральная критика, закатывая глаза, шепчет: «Вот у них-то театр!», не всегда совпадает с джентльменским набором имен и спектаклей, оцененным западными критиками.

Во-первых, ни в одной стране мира не относятся с таким серьезом к культуре и к себе в культуре, как у нас. Во-вторых, любовь назначать «лучших и талантливейших» — чисто советский удел, а строить свою жизнь как поддержание этого тезиса — это уже наше советское клиническое поведение, заменяющее нам нормальную жизнь, как садомазохисту акт борьбы заменяет акт любви. С театром ясно, да он и не по карману. Опера? С приглашенными звездами, которые к нам не заезжают, хотелось бы копыя поломать, но обмененных на двоих денег хватит на плохонький билет. На один! Так что каковы бы ни были духовные запросы, родное правительство оставило для вас только вход в благотворительные магазины тряпок и слайды, на которых вы улыбаетесь всеми зубами на фоне двухэтажного голубого автобуса с рекламой водки «Горбачев».

По поводу моды на зарубежное образование тоже стоит подумать, собственно, она и погнала нас в вояж. Устав от гражданской войны с собственной школой, в которой преподавательница географии разбила однокласснику наших детей голову, и ни РОНО, ни «Комсомолка», ни Господь Бог не призвали ее к покаянию, мы решили отдать Петю и Пашу в западный колледж, чтоб они закончили среднее образование с целыми головами.

Увы, Итон, прообраз Оксфорда и Кембриджа, произвел тягостное впечатление. Зеленая лужайка, каменные скамейки, как в бане, трогательная форма, интернатская система обучения и отсутствие в глазах студентов и школьников того, ради чего, собственно, мы так далеко и везли Пашу и Петю. Такие зажатые, замученные, перепуганные лапочки, только без пионерских галстуков. Путь к внутреннему комфорту ребенка там также лежит через семью, а не через страну, а семья европейская так же плевала на ребенка, как и наша, она только лучше его упаковывает.

Рональд, бывший директор колледжа, при всем своем патриотизме согласился со мной. Англия, как и всякая страна, состоит из людей, а нам из-за нашей колючей проволоки кажется, что люди состоят из страны. Единственный человек в Лондоне, доверить которому можно было бы воспитание детей, — это Рональд, но Рональд — такое же отклонение от нормы в Англии, каким был бы в СССР. Я знаю о нем сто историй.

Например, история о том, как готовилась демонстрация всех учеников города против атмосферы в колледжах. У Рональда в колледже была предельно демократическая атмосфера, но, видя детское бурление и гудение, он немедленно собрал их и сказал: «Я — старый политический волк, я приветствую вашу политическую активность и хочу поделиться с вами опытом». Далее рассказал о том, как лучше выбирать забастовочный комитет, организовывать демонстрацию, писать плакаты и т. д. Поблагодарил за внимание, пожелал успехов и оставил их для дальнейших самостоя-

тельных действий, предоставив в распоряжение здание колледжа. В день демонстрации колледж Рональда единственный работал как обычно, это было решение забастовочного комитета.

— Я был доволен, они одновременно и побыли самостоятельными, и получили знания, — сказал Рональд.

Один четырнадцатилетний бой явился в колледж после каникул с волосами, лежащими на плечах. Рональд сделал вид, что не заметил этого. Тогда бой подошел к нему и спросил:

— Сэр, как вам нравятся мои длинные волосы?

— Мне не нравятся ваши длинные волосы, но ведь вам тоже не нравятся мои короткие, — ответил Рональд.

— Но ведь вы можете заставить меня подстричься, — настаивал бой.

— Я — директор колледжа, и моя задача воспитать вас самостоятельным человеком. Как же я могу заставлять вас?

На следующий день бой пришел с короткой стрижкой и виноватой улыбкой. Рональд вышел из Коммунистической партии, как только понял, что ею руководят из Союза. Рональда нельзя назвать безупречным англичанином, его можно назвать только безупречным Рональдом. Человеком, общение с которым воспитывает на всю жизнь.

Самое красивое в Англии — это Вестминстерское аббатство, переполненное великими тенями, бродящими в сумраке мраморных кружев.

— Паша, Петя, смотрите, это трон английской королевы.

— Такой ободранный?

— Он очень древний и очень строгий. В нем сидели все короли Англии.

— А кто на нем выцарапывал свои инициалы?

— Одно время он стоял неогороженный, и посетители ножами вырезали свои имена и даты. Это не страшно, в этом даже есть какая-то демократичность, — говорит Пнина.

Переглядываемся: живущие в стране, исписанной матом вдоль и поперек, мы представляем себе демократичность по-другому.

— И вот на этой неудобной деревянной штучке сидит королева?

— Да. Его несут к месту церемонии. Наша королева такая милая, а эта стерва Тэтчер унижает ее. Она сама определяет бюджет дворца, эта плебейка! Сейчас мы заедем к ее резиденции, — обещает Пнина.

Домика на Даунинг-стрит, нещадно демонстрируемого программой «Время», мы так и не видим. Носы наши утыкаются в такую серьезную решетку и такое количество полиции, что уж какой там домик. Около нас буквально обыскивают телевизионщиков. Конечно, премьер-министр, покушения и все такое, но после заслонов у резиденции Тэтчер Горбачев, разгуливающий в толпе, выглядит просто графом Монте-Кристо. Вежливые по всей Англии полицейские стоят здесь фиолетовые от злости. Лондонцы говорят, что если начнут бомбить остров, единственное, что устоит, — это решетка резиденции.

Вообще же английская полиция выглядит и ведет себя очень мило. Особенно это касается ее женской половины. Красотки в полицейских чепчиках круглые сутки охотятся за непаркованными машинами. Автомобиль может стоять на улице не больше пяти минут, с первой секунды шестой минуты платите штраф. Так что катайтесь час, ищите свободное место на платной стоянке хоть в километре от нужного пункта, а потом плетитесь до него пешком. Уж больно Англия тесна, чтоб машины стояли на улице, уж больно англичане дисциплинированы, чтоб спорить с девицами-полицейскими, уж больно девицы честны, чтоб накидывать лишнюю секунду.

— Сегодня мы обязательно едем в Виндзор! Нельзя побывать в Англии и не увидеть дворца Виктории!

Едем в Виндзор. Потрясают антикварные магазины. Таких антикварных просто не бывает, это — театры, а не магазины. Садись за фисгармонию, обращай на себя в дымчатое витиеватое зеркало и натыкаешься в нем на нежную улыбку продавца.

— Если вы русские, передайте привет Горбачеву. Он хороший парень. Я был в Ленинграде, это самый красивый город в мире. Он раздавливает своей красотой. И не надо тратить столько денег на оружие. Мы хотим с вами дружить, а не воевать, — говорит продавец в одном из антикварных.

Самый дорогой ресторан в Англии находится тоже в Виндзоре, в отреставрированном домике четырнадцатого века. Заглядываю внутрь. Мило, всего четыре столика, непонятно, чем там таким кормят, но все очень приветливы.

Вокзалу, на который когда-то прибыла Виктория, усилиями мадам Тюссо возвращена жизнь. Расставленные куклы сначала веселят, потом удивляют и, наконец, пугают совершенством.

— Я не могу сидеть с ними на одной скамейке, — говорит Паша. — Они как покойники. Нет, они хуже покойников.

Восковая Виктория сидит перед вечно горящим камином, восковые мальчишки выкрикивают газетные новости, восковые лошади танцуют под восковыми всадниками, восковой Диккенс обращается с трибуны, юная восковая Виктория соглашается взойти на королевский трон. Очарованные и подавленные, вы выходите с этого некрофильского праздника и страстно ищете глазами живых людей.

Когда возвращаемся домой, выясняется, что плащ Рональда провалялся всю ночь в плохо закрытом багажнике машины и до ниточки промок. Чтобы никого не огорчать, Рональд проходил в мокром плаще по февральскому Виндзору целый день. Его знобит, но он счастливо улыбается. Это колониальное воспитание.

— Дорогая, сегодня мы обедаем с тобой в африканском ресторане с секретарем общества дружбы Англии и СССР. Это очень важно для твоих дел, — строго смотрит на меня Пнина.

Какие там дела, прекрасно понимаю я. Их в Англии не интересуется собственная современная драматургия, будут они заниматься моей! На фразу «я пишу пьесы» в десяти случаях из десяти они спрашивают, сколько фунтов в неделю я могу за это выручить. Всякие песни об альтернативной культуре, советском ан-

деграунде вызывают у них глубокую зевоту. В украинском селе, где мы купили дом, нас с пристрастием допросили, кто мы такие, что имеем возможность отдыхать целое лето. «Саша — певец, а я — писатель», — виновато объяснила я. Про мужа поверили, услышав, как он по утрам распевается, разгоняя своими верхами и низами окрестных гусей, а по поводу меня сурово объяснили, что нет такой работы «писатель», что если я — спекулянтка, то надо так прямо и говорить, тогда они мне закажут ковер привезти, и нечего косить молодой бабе под какого-то там «писателя».

Англичане разговаривали примерно так же: «Вы писатель, а какой у вас еще бизнес?», быстро отбив охоту беседовать о делах. Однако если Пнине приятно покровительствовать, то я готова идти в любой ресторан. Оказываемся в каком-то бедном районе. Выбитые стекла, горы мусора, ободранные ребятишки на роликах. Негр со стеклянными от наркотиков глазами продает сказочно дешево зонтики диких расцветок.

— Дорогая, этот зонтик будет служить тебе всю жизнь, — говорит он, положив два фунта в карман. Зонтик хорош, как экзотический цветок.

— Ты хочешь сказать, что ты будешь с ним ходить по улицам? — ужасается Пнина.

— А вам он не нравится?

— Ради бога, только не по Англии. С такими яркими зонтиками ходят только проститутки в негритянских кварталах.

— Да? Странно. А у нас только жены аппаратчиков.

Секретарь общества дружбы, премилая дама, за-

дает тот же комплект вопросов, что и остальные: Горбачев, перестройка, «Макдоналдс». Томясь, жду приобщения к африканской кухне. Юный негр с сотней косичек в красной хламиде тащит поднос с блюдами, которые не выговорить.

— О, это такое пикантное блюдо. Здесь так шикарно, — умиляется Пнина.

Перед нами ставят три железные миски (это, видимо, высший шик сезона), в которых наструганные морковь, мясо, рис и бобы перетушены с нечеловеческим количеством перца. Что-то вроде болгарских консервов, но гораздо противней.

— Видишь, дорогая, а теперь к этому будет оригинальная закуска.

Закуска действительно оригинальная: наструганная сырая капуста и нарезанная ломтями вареная свекла — по цене омаров.

— Видишь, как здесь необычно. Как просто и изысканно.

— А хлеб не входит в национальную африканскую кухню? — с тоской спрашиваю я.

— Нет, дорогая, но мы закажем мороженое.

— А капуста и свекла у них растут на пальмах? — злюсь я.

— Дорогая, ты недовольна? Во всем Лондоне только здесь можно получить такую еду!

Слава богу, что только здесь. Поуп говорит, что наиболее доверчивы самые серьезные люди. Англичане так любят экзотику, что колониальные амбиции позволяют им не различать в любви ни севера, ни юга.

Секретарь общества забирает у меня все реклам-

ные тексты и видеокассеты моих знакомых, одержимых идеей завоевания Запада, записывает все адреса и телефоны с крайне заинтересованным лицом. Стоит ли говорить о том, что ни по одному из них она не позвонит и не напишет. Англичане такие же болтуны, как и наши, там, где их не греет звон фунтов.

— Куда мы еще хотим поехать? — спрашивает Пнина с утра.

— Никуда, — умоляем мы. — Мы просто будем ходить по Бекенхему, рассматривать дома, сады, перемалывать все, что уже увидели.

— Ради бога. Но только это не Англия. Настоящая Англия — за стенами домов. Завтра мы едем в Брайтон к Питеру. Это будет чудесно.

Брайтон похож на Одессу: море и особняки, парки и беседки, мокрый воздух и блестящие глаза. Пятиэтажный дом Питера хорош собой. Кафельные узорчатые полы и крутые деревянные лестницы, старинные китайские одежды на стенах и портреты Горбачева в туалетах. Питер — преуспевающий профессор-иглотеерапевт, автор бестселлера «Натуральное питание». В доме чрезвычайно здоровый образ жизни. Хорошенькие школьницы Сюзи и Наташа бегают по каменному полу босиком весь год. На антикварных письменных столах компьютеры. Пальто сбрасываются прямо на постель, кстати, ни в одном английском доме мне не посчастливилось видеть вешалку при входе. Все, что не вешается в шкаф, бросается куда угодно.

Питер и Джин давно женаты, старшая сестра Джин — голливудская звезда Стефани Бичем, но сама Джин считается более красивой. Питер и Джин двину-

ты на здоровом образе жизни; раньше вместе курили марихуану и хипповали, теперь он преподает иглотеорию, она — йогу. В кухне, метров под сто, стоит деревянный стол в половину кухни. Слишком велик для игры в теннис, но вполне годится для катания на роликах. Гостиная на втором этаже с простыми креслами, ситцевыми занавесками и множеством комнатных цветов. Кому не хватает кресел, садятся на пол.

— Этот диван Питер и Джин принесли с помойки, смотри, как они его перетянули своими руками, — хвастается Пнина.

Ничего себе богачи в советском понимании. Ни одного штриха из области денег, вложенных в вещи. О кредитоспособности свидетельствуют только стеллажи с альбомами живописи и марки компьютеров. Сьюзи и Наташа посылают друг другу рисунки на компьютерах с разных этажей. Огромный, чуть заброшенный сад. Замученный делами Питер пытается поддерживать светскую беседу. Девочками занимается прислуга. На эту роль в Англии принято брать студентку из Европы. Она приводит в порядок собственный английский, учит детей языку своей страны, помогает по хозяйству. Профсоюз следит, чтоб она, не дай бог, не вымыла лишней тарелки. Денег за работу ей не платят: жилье, питание, карманные расходы. Студентка расширяет кругозор, хозяева экономят фунты.

Через год она возвращается учиться, а на ее место присылают другую. Дети, конечно, студентке по фигу, но родных бабушек к ним не подпускают. Нынче у студентки, страшненькой толстушки из Дании, в гостях такие же подружки. Одна сидит на ковре, другая, по-

ложив шляпу на пол, стоит напротив меня. Блок вопросов: Горбачев, «Макдоналдс» и т. д. На попытку ответить подробней — затухают. Выясняю, что они из состоятельных семей, родителей устраивает их занятие. Собираются ли они замуж? Все три пугала начинают манерничать. Не хотели бы они выйти замуж за русских? Две корчат козы морды, а третья говорит, что это все равно что за африканских негров. Несоответствие фактур претензиям лишает меня хороших манер.

— Видите ли, — говорю я, — русские женщины очень красивы, и русские мужчины довольно избирательны.

— Видели мы этих избирательных, — фыркает одна. — За один фунт на столетней женятся.

Торговля советских людей обоих полов телом обросла в Европе таким фольклором, что наши обличительные статьи о пуганах — просто сказка про трех поросят. Датчанки мешают общаться с Питером, но это их несколько не смущает. Питер, зарабатывающий на весь этот дом, машины, компьютеры, пижонские летние круизы, возится с ужином и светской беседой при вялом содействии жены и прислуги.

Детская увешана всякими прелестями и вовсе не отапливается. Девочки крутятся в легких платьицах, морская свинка носится по диковинной клетке, видимо, пытаюсь согреться. Чтоб не вести себя как морская свинка, ухожу на кухню.

— Почему в детской так холодно?

— Это полезно. Наши девочки никогда не болеют.

— Они хотят сделать из детей белых медведей.

Они потому и не дают их мне, — шепчет на ухо Пнина. Кстати, все пять этажей без лифта, с крутыми лестницами — тоже для здоровья, с ума сойдешь, бегая с подносом с первого этажа на второй. Как позвать девочек из детской, если вы в кухне? Радиотелефон.

Ужин удивительный. В выдолбленных огромных мисках картофель в кожуре, испеченный в натуральной печке. Горы свежих овощей и фруктов, часть из которых мы видим впервые в жизни, несколько видов колбас и мяса в расчете на нас, варваров. Все продукты из магазина натуральной пищи. Все очень здорово. И кухня в стиле «натуральной жизни» с печкой и старинными японскими зонтиками на светильниках, и кошка, которую, по-моему, тоже заставляют сидеть в позе лотоса, и смесь старинной резьбы по дереву с компьютерами. Нет только того, чего я не нашла в глазах воспитанников Итона, и ради чего так далеко ехала, и что мы наивно ассоциируем со словом «зарубежье».

— Дорогая, куда бы ты ни поехала, ты все равно обязательно возьмешь с собой себя, — говорит на это Пнина. — Для того чтобы быть счастливым, жизнь в Европе не первое условие, а последнее. Когда мне звонят и предлагают работу с русскими, я радуюсь, как девочка, которой назначили свидание. Я ведь могла бы не работать, ты же знаешь. Работа с русскими — это моя кислородная трубка. Недавно я была в Грузии, я получила там дозу любви на несколько лет вперед. Здесь хорошие люди, но они не умеют радоваться друг другу. Они живут как-то непразднично, как будто насильно. Понимаешь? Дорогая, завтра мы едем к Алану

в Шефилд. Алан обидится, если узнает, что мы были у Питера и не были у него.

— Но деги так устали.

— Ничего, мы поедем электричкой, снимем на ночь гостиницу, переночуем в Шефилде и вернемся. Впрочем, это дорого. Здесь очень дорогая электричка. Лучше поедем машиной и переночуем в гостинице. Хотя нет, это будет тяжело для Рона: ему придется много часов сидеть за рулем. Дорогая, давай поедем вдвоем, а мужчины пусть остаются дома и развлекаются сами.

— А почему надо снимать гостиницу? — недоумеваю я. — У Алана так тесно?

— Конечно.

— А сколько у него комнат?

— Я не помню точно, давай посчитаем, — сколько комнат, мы так и не определяем, но этажей насчитываем четыре.

— Конечно, тесно, — сочувственно киваю головой.

Электричка — нет сил какая хорошенькая: полы устелены ковром, диваны — клетчатым бархатом, буфет, туалет, билет астрономической стоимости. Бедные ездят на машинах, богатые улыбаются из электричек. Подъезжая к Шефилду, изумленно вижу родной индустриальный пейзаж, просто первые кадры «Маленькой Веры», да и дышать нечем.

— Что это такое?

— Шефилд — рабочий город, дорогая, — объясняет Пнина. — Мой Алан, он такой благородный, он работает в образовательном центре для безработных.

Он мог бы сделать карьеру, стать профессором, но он такой же сумасшедший, как Рональд.

— Здесь невозможно дышать, в Шеффилде, наверно, много болеют дети.

— О, еще как. Они все время борются за экологию, но их никто не слушает. Мальчики Алана много болеют, у Роберта хронический бронхит, а Алекс — астматик. Это все из-за воздуха.

— Почему же Питер их не вылечит?

— Это сложно объяснить, дорогая. Питер очень дорогой врач, а Алан — бедный учитель. И еще много чего. Тебе этого не понять, у вас все по-другому.

Я представляю себе бедную четырехэтажную лачужку Алана.

— Какая уютная электричка.

— Да, дорогая, недавно террористы взорвали точно такую же электричку, — зевает Пнина.

— Как взорвали? С людьми? — аж подпрыгиваю я.

— Ну, конечно, с людьми, они же террористы. А до этого целый автобус с детьми, — Пнина снова зевает: мы же встали ни свет ни заря. — Они там с Тэтчер о чем-то не договорились.

— И вы рассказываете об этом так спокойно!

— Мы привыкли. Это их работа. У Рональда есть знакомый, он раньше работал террористом. Такой образованный джентльмен в клетчатом пиджаке с трубкой.

В Англии меня не покидает ощущение путаницы, например:

— Мне звонила Джин, у нее случилось несчаст-

тье, — говорит Пнина упавшим голосом. Советское сердце на слово «несчастье» реагирует определенным способом. Дальше после паузы, достойной шекспировского королевского театра, следует: — Она потеряла ключи от машины, и ей пришлось проехать полгорода, чтоб заказать новые.

Или:

— Я видела хромую кошку, видимо, ей машина переехала лапу. У нее были такие глаза. Она мне будет сниться. У нее были совершенно несчастные глаза.

А вот в бедном квартале мальчишка у ресторана умоляет глазами о подачке.

— Смотри, дорогая, какой он милый. Какое у него умненькое личико.

Нищая грязная старуха с рюкзаком на плечах сидит на скамейке.

— О, этого у нас много, дорогая. Жизнь в Европе дорогая и сложная.

При всей щедрости, натыкаюсь на полное нежелание врубаться в нашу советскую ситуацию, унижающее в сто раз больше, чем оплата наших счетов.

Люди в Шеффилде теплее лондонцев.

— Вот тебе самый лучший шоколад, моя любовь! — говорит мне раскрашенная торговка на вокзале, лучась от нежности.

Алан, Розмари, Роберт и Алекс подъезжают на вполне шикарной, по моим представлениям, машине.

— Почему Алан считается бедным? — спрашиваю я у Пнины в резиденции Алана и Розмари, которая учится на юриста.

— Но ведь Питер имеет дом еще больше, машину

еще лучше и может принимать на вечеринке двести гостей, — объясняет Пнина.

У камина в гостиной скачут восьмилетний Алекс и пятилетний Роберт. Розмари — мать двоих детей и студентка. В комнатах нормальный бедлам, я сразу начинаю чувствовать себя как дома после вылизанных, как витрины, английских жилищ; а Пнина, у которой для вытирания разной посуды разные полотенца, наоборот. Алан говорит по-русски, примерно как я по-английски, на этой тарабарщине мы отлично друг друга понимаем.

К детям здесь относятся более чем спокойно.

— Роберт вчера свалился с лестницы второго этажа на первый, у него сегодня на лбу синяк, — дети пользуются всем жизненным пространством дома от чердака до вечно открытого погреба, набитого яблоками, купленными в сезон. Им разрешено лезть в камин руками и игрушками, драться в пролетах крутых лестниц, выбегать на улицу в носках, носиться на проезжей части перед домом («дети не должны бояться своей улицы»), играть с горстями земли на ковре в гостиной, лезть в домашний бассейн прямо в одежде. На них не кричат, их не дергают.

Обед у Алана для меня омрачен визитом какой-то приятельницы, которой есть не дают. Я сижу и даюсь деликатесной рыбой, пока она весело рассказывает новости. Суп из протертой моркови и протертого репчатого лука мною мужественно съедается до конца. Счастье, что нет Пети и Паши, они бы упали от одного вида этого супа в обморок.

Запихнувшись в машину, вся компания едет де-

монстрировать мне Беквел — место, знаменитое в Европе своими тортами.

— Смотри, дорогая, это наше самое красивое графство! — хилый пригорок с жалкой растительностью.

— О, очень мило.

— А вот английские крестьянские дома, какие они простые и изысканные, — серые такие бараки из тесаных булыжников после наших-то резных окошечек и крылечек, вот уж где захлебываешься от квасного патриотизма. И как ни милы англичане, самые красивые сувениры в роскошных шопах — наши. Не потому, что яркие, а потому, что живые. И еще итальянские, в остальных не хватает ни души, ни чувства юмора.

Дети кормят уток в беквельском озере. Туристов больше, чем листьев на деревьях.

— Смотри, вот традиционный беквельский сувенир. Хочешь его? — птицеобразное существо, которое то ли вешается, то ли привинчивается, то ли ставится.

— Из чего у него голова?

— Из кокосового ореха.

— А давно в Англии произрастают кокосы?

— Какая разница, где они произрастают, главное, что сувенир — беквельский.

Вдруг я соображаю, что единственный человек в Англии, который понимает все, что я говорю, — это Алекс. Он сидит у меня на коленях в машине, старается говорить как можно чище, терпеливо отвечает на вопросы и дает возможность не стесняться того, что у меня по-английски не выходит. Проболтав время дороги бог знает о чем, на бог знает каком языке, мы рас-

стаемся людьми, сказавшими друг другу самое главное.

В Англии, как, впрочем, везде, интересней всего общаться с детьми. Может быть, в Англии больше, чем везде. Английский ребенок еще нормальный человек, английский взрослый — уже восковая фигура. Видимо, сдвиг на животных связан у англичан с низким статусом человеческой эмоциональной жизни. Они позволяют себе душевную жизнь с животными, не принятую с людьми. Одним словом, колониальная психология, накладываемая в детстве как лекало, мстит исполнителям за излишнюю прилежность.

Класс вождения автомобиля у англичан таков, что в нашей стране их можно показывать за деньги.

— Как вы не врезаетесь друг в друга в такой тесноте? — спрашиваю я Рональда.

— Мы с детства привыкли ездить быстро и тесно. Мы очень выдержанны за рулем и терпимы.

Однажды с пакетом только что купленных шмоток я перехожу улицу с согласия светофора. Как только дохожу до середины, все машины начинают истерически гудеть. В ожидании штрафа — а я только что потратила последний пенс и иду домой пешком — бросаюсь вперед и перебегаю вторую половину улицы. Тут все сонные водители выскакивают из машин и начинают хором что-то орать. Похолодев от страха, столбом останавливаюсь на тротуаре в ожидании полиции или возмездия в другой форме. Тут взгляд, двигаясь по направлению уже целого леса вытянутых указательных пальцев, натывается на малиновую рубашку, выпавшую из моей сумки в начале перехода через улицу.

Трогательно сложив английские рукавички, она лежит в миллиметре от колес белого автомобиля, хозяйка которого взывает ко мне, особенно беснуясь и глотая все гласные. Меня довольно трудно смутить, но к рубашке я бегу с лицом бордового цвета. Сунув ее в пакет, тихо встаю на тротуаре, но они решают допраздновать победу английского гуманизма над туристской рассеянностью и не двигаются с места, пока я не пройду на другую сторону. Натужно улыбаясь всем сразу и каждому в отдельности, второй раз иду сквозь строй с горящими ушами, высказывая про себя все советские эпитеты по адресу малиновой рубашки. Только теперь они едут, прощально сигналив и помахивая мне руками. За время мизансцены их накопилось на дороге столько, что я чувствую себя Ворошиловым, принимающим парад войск.

Англичане патологически дисциплинированы. У них очень славная и стабильная аура, и мне, как человеку дикому, все время хочется их потормозить. Кажется, что они, как куклы при надавливании на пшталку, могут сказать «мама» человеческим голосом. Меня потрясают англичане, спокойно сидящие несколько часов в дорожной пробке, не шевельнув бровью. Меня ужасают англичане, стоящие в очереди перед контролером, проверяющим билеты на электричку, и не могущие попросить, чтоб их пропустили вперед, когда уходит именно их поезд. Мы ведь полагаем, что хождение строем — советская атрибутика. Никак нет. Англичанин гораздо точнее встает в очередь, гораздо терпеливее ждет чего угодно, гораздо естественнее соглашается на самое абсурдное правило. Он

управляемей, моделируемей, сдержанней и зажатей за счет загубленного эмоционального естества, а главное — считает это первой своей гражданской добродетелью.

«Эх, расступись!» — в принципе не переводимо на романо-германские и англосаксонские языки. В силу того, что корни эти «не витиеваты». Полиглот Рональд не может читать русскую классику.

— У вас так много приставок и суффиксов, что я не успеваю сложить все оттенки вместе, — жалуется он. Мы долго и безуспешно пытаемся перевести на английский слова типа «темноватенький» и «фитюлечка». Все, что не переводится, Рональд называет «достоевщина». В английском «достоевщины» нет в принципе. Как говорил классик, «границы языка означают границы мира».

После дикого спора о губительном действии режиссерского театра на театр в принципе Пнина устраивает мне выволочку.

— Дорогая, я очень люблю тебя. Но у тебя есть недостаток, перечеркивающий все твои достоинства. Ты слишком любишь доказывать свое мнение.

— Но ведь я говорю о вещах, довольно важных для меня, и меня прежде всего интересует истина.

— А кто тебе сказал, что остальных твоя истина интересует больше, чем хорошее настроение? Ты петушишься, обижаешься, теряешь лицо. Ни одна истина не стоит того, чтобы человек горячился. После такой истины тебя просто не пустят в хороший дом. Ты поняла меня, дорогая? Вы там в Союзе привыкли доказывать всю жизнь, чья истина истиннее, что, вы от

этого стали счастливей или богаче? Тебе что, было трудно согласиться с нами? Нетрудно. А ты испортила вечер своим митингом!

Я умираю от стыда и недоумения.

— Пойдем, дорогая, у нас сегодня гости, пойдем накрывать на стол. Только, пожалуйста, без всяких истин. Истина для человека — это то, что он сам хочет услышать. Особенно в гостях.

Первой приходит стремительная Валери. По манерам ей двадцать, по лицу — сорок, по паспорту — шестьдесят. Валери — богачка, живет в пригороде, носится в гоночном автомобиле, обожает русскую музыку и все русское и основную часть времени, чтоб не сойти с ума от безделья, крутится около Пнины. Приходят две милые семейные пары, одинаковые, как чашки в сервизе: поменяй мужей местами — никто не заметит. Все «фолтлис». Часа два идет никчемная болтовня на заданную тему: Рахманинов, Скрябин, Римский-Корсаков, русские иконы, русская душа.

— Где в Англии можно купить счетчик Гейгера? — нарушаю я изысканную беседу, так как один из мужей оказывается специалистом по окружающей среде.

— Нигде. Это такой большой сложный прибор. Очень дорогой. Зачем он вам?

— А разве вам тоже не нужен такой прибор?

— Меньше знаешь — крепче спишь, — говорит специалист по окружающей среде, махнув рукой.

На десерт второй из мужей достает из кейса бала-лайку и, тренькая, запекает козлиным голосом «Светит месяц, светит ясный». По глазам всей компании

мы понимаем, что сейчас, видимо, должны засвистать и пуститься в пляс. Тихо сидим и густо краснеем. Нас уговаривают спеть жестко, как русские уговаривают выпить, мы не сдаемся. Дело в том, что Англия беснуется от моды на русское, ложки-матрешки заполняют самые дорогие витрины, дом без палеха — это дом бедняка.

К моменту, когда в компании временем и выпитыми напитками создается нужная концентрация «душевности», ради которой у русских, собственно, и весь сыр-бор, гости быстро, по-военному уходят. Остаемся как люди, которым прокрутили «динамо». У нас другая психодинамика.

— Какой милый вечер, — воркует Пнина, складывая тарелки в моечную машину.

Рональд тоже не вполне англичанин, неизрасходованную эмоциональность он сублимирует в страсть к опере. При очень дорогих пластинках он собрал оперную фонотеку, в каталогах которой несколько тысяч опер. Рональд — истинный гурман. Он пренебрегает ариями.

— Опера существует целиком, и только целиком, — говорит Рональд. Все свое свободное время Рональд слушает оперу.

Вернувшись из Шеффилда, мы застаем счастливых мужчин.

— Чем вы занимались?

— Рональд с папой на втором этаже целый день записывали оперы, а мы на первом — целый день били друг друга, — объясняют дети.

Возвращаясь от Алана, мы опаздываем на электричку.

— Что будет, если она уйдет без нас? — спрашиваю я, видя, как скачет Пнина по лестнице.

— Пропадет билет.

— Ну и что?

— Он очень дорогой.

Семидесятилетняя Пнина, солидная дама пятидесятого размера, летит по крутой вокзальной лестнице так, что я еле за ней успеваю. Электричка свистит, когда мы выносимся на платформу, где милый джентльмен проверяет билеты на все поезда сразу. Электричка пыхтит и дрожит — перед нами десять человек.

— Попросим, нас пропустят, другие ведь не спешат, — уговариваю я Пнину.

— Это неприлично, — отвечает Пнина упавшим голосом, гипнотизируя электричку горящими глазами. Когда у нас проверяют билеты, поезд уже идет.

— Ничего не бойся, — кричит Пнина и, как героиня гангстерских фильмов, прыгает в поезд на ходу (английские электрички ездят с незакрывающимися дверями). Чтоб не посрамить флаг отечества, прыгаю за ней, припоминая, что мне с малых лет твердили о такого рода посадках.

— Представляешь, сколько мы сэкономили денег этой пробежкой, — сияет Пнина. Грудь ее вздымается, как океан.

— Как вы себя чувствуете? — с ужасом спрашиваю я.

— Прекрасно. Я могу догнать еще пять таких поездов.

Как-то мы с Петей и Пашей заходим в маленький антикварный в Бекенхеме. Он состоит из двух комнат, набитых древними богатствами, разложенными на бархате без всякой сигнализации и стекол.

— Как хорошо, что вы зашли, — говорит девушка, работающая в нем. — Теперь я смогу отойти, позвонить домой, а то в магазине никого, кроме меня, нет.

Она поспешно исчезает во внутреннем помещении, а мы остаемся с открытыми ртами. Отсутствует она минут десять. За это время можно обчистить весь магазин и доехать до соседнего района.

— Что бы вы хотели приобрести?

— Мы только хотели посмотреть, — денег наших хватает только на оберточную бумагу.

— О, как мне неудобно. Я заставила вас ждать. Я вам так благодарна за вашу отзывчивость!

В день отъезда я иду к Севе Новгородцеву, жена которого, актриса Карен Крейг, делает какие-то пасы с моей пьесой. Мне очень интересен Сева, уже сдержанный, как англичанин, но еще смешливый и образованный, как русский.

Одним словом, «Сева Новгородцев как зеркало русской эмиграции».

Сева и Карен живут в небольшой квартирке в садовом этаже в центре Лондона, состоящей из пяти-шести маленьких комнат, которые Сева отделал и отстроил собственными руками. Жилье в меру уютное, в меру пижонское, коты имеют свои отдельные кошачьи двери, ужин накрывается со свечами. Набор приемов,

рассчитанный на совка: «Во как я устроился», Сева прокручивает с достаточным тактом. Квартира его после особняков родичей кажется мне, конечно, студенческой обителью, но ведь рассчитывать на замок с озером, эмигрируя, глупо, особенно порядочному человеку.

Сева, стройный, седовласый, немного усталый парень без возраста, воспитавший под глушилки не одно поколение на родине, до сих пор проходит у нас по статусу заурядного эмигранта. А ведь большинство эмигрантских амбиций было устремлено на нежность к самим себе, вместо нежности к тем, кто остался; большинство свободных голосов превратилось в курятники, отражающие нашу жизнь в кривых зеркалах междусобоя. Несостоявшиеся в Союзе писатели и журналисты, в масках пророков, соревновались в пошлости, бестактности и приблизительности; а мы верили каждому слову «оттуда». В этом смысле Сева — образец хорошего вкуса и хорошего тона, а главное — чуткости по отношению к совку, которому он может что-то объяснить из своей радиостудии.

За столом с красным итальянским салатом, пирогом с севрюгой и французскими блинами, Сева и Карен — кухонные гурманы, мы решили включить магнитофон, так что беседу привожу полностью.

Сева. В Англии люди управляются или самоуправляются на месте и от высших властей зависят в гораздо меньшей степени, чем у нас в стране. Распределение в Англии тоже идет так, как у нас когда-то

было, сто там с лишним лет тому назад. Что производится, то и потребляется. Поэтому общество раздроблено на буквально атомарные частицы, и человеку, привыкшему к тому, что все идет по иерархической лестнице сверху, никак к этому не привыкнуть. У меня есть приятель, оперный критик, он мне говорит: «Сева, я до сих пор жду звонка из райкома, чтоб мне сказали, что мне делать».

Я. Сева, ну а вы как к этому привыкли?

Сева. Видите ли, к эмиграции нужно готовиться долго и серьезно. Я к этому готовился, еще не зная, что уеду, буквально с восемнадцати лет. Увлёкся языком на чисто филологическом уровне. Язык не существует отдельно от культуры, постепенно я дошел до того состояния, что не мог читать по-русски. Я ушел во внутреннюю эмиграцию. Так получилось, что профессии я менял каждые пять-семь лет. Я был переводчиком, моряком, инженером, музыкантом. В юности очень хотел стать актером, пытался поступить в театральное, ничего из этого не вышло, и батя определил меня в мореходку. Я проплавал год в эстонском пароходстве в заграничку, получил английский диплом и ушел в джазовые музыканты.

С рок-группой мотался по гастролям и к 75-му году, когда в СССР запас творческого пространства был исчерпан, начал потихоньку задумываться. Потому что тогда, если ты был внизу, тебя не трогали — играй, что хочешь, как только ты выходил на более высокий уровень — репертуарный контроль усиливался. Поработав в Москонцерте, я пережил такое, что можно писать роман. Там нас и стригли, и брили, клеили

на нас усы и парики. Все это называлось «Добрые молодцы».

Я. Помню этот ансамбль, это было ужасно.

Сева. Ага, но ведь «Добрые молодцы» — это была ширма. Мы пели забытые русские песни, и за это нам разрешали не стричься. Остальных насильно стригли. А я был руководителем, пока, пораженный копьем, не пал на поле брани. Было это так. Мы пели на Сахалине, и оттуда навалили коллективную бумагу о том, что мы оскорбляем русский фольклор, аккомпанируя себе на японской аппаратуре. Мы были молодые, озорные, сели и написали ответ, что ежедневно и ежечасно сотни пианистов оскорбляют бессмертные произведения Чайковского, исполняя их на роялях фирмы «Стейнвейн» и «Блютнер». Последнее слово все-таки осталось за ними, они написали подметное письмо в Министерство культуры, после чего с руководящей работой мне пришлось расстаться, за что я судьбе чрезвычайно благодарен.

К тому времени я увлекся йогой и голоданием. Я голодал три дня, неделю и потом три недели, конечно, под наблюдением врача. И вот на шестнадцатый день у меня началось просветление. Плоть была уже убита, дух возвысился, я посмотрел на себя со стороны и пришел в ужас. Я понял, что занимаюсь совершенно не тем: какой-то саксофон, какие-то выходы на эстраду, дешевые девицы, популярность, афиши, касса, успех. И я подумал: зачем я все это делаю? И я уволился с работы и восемь месяцев лежал на диване и думал. Честно говоря, на отъезд меня подбила бывшая жена.

Я. Она — еврейка?

Сева. Нет, она — татарка, но рвалась в Израиль. А я по отцу — еврей, по матери — русский. Мы получили вызов. В землю обетованную ехать мне не хотелось. Евреем я себя чувствую только, если обзовут. Я вообще не знал, куда я еду, я знал — откуда. У меня был тупик, и было все равно, где начинать. Ехал без всяких иллюзий, зная, что меня ничего не ждет, и когда прибыл в Италию, записался моряком и подал документы на Канаду, потому что кому нужен саксофонист. К счастью, оказалось, что у Канады нет своего флота.

И тут меня нашел человек, который работал на Би-би-си. Он приехал к своей матери буквально в нашу квартиру, хотя эмиграция была разбросана по трем городам. Я сдал ему обычный экзамен на перевод и на чтение и начал ждать. Вообще, в истории моего попадания на Би-би-си такое количество мистических совпадений, что я никак не могу считать этот путь случайным. Пока я ждал, я помогал с переводами одному американскому священнику и был вовлечен в церковную работу. Оформлял паспорт в Англию, и это было бесконечно.

Я. На что вы жили все это время?

Сева. Сначала на пособие, потом написал какой-то учебник русского языка, он не вышел, но деньги заплатили.

Потом обучал людей вождению. И вот я живу, хожу раз в неделю в контору, не получаю паспорта и чувствую, что обстоятельства что-то хотят сказать мне. А к этому времени я был так глубоко погружен в церковную деятельность, что созрел для крещения. Пришел к своему другу американцу и попросил, чтобы

он крестил меня. Он сделал это в церкви пятнадцатого века, в мраморном бассейне, это было невероятно красиво.

И после этого со мной начинают случаться странные вещи. На следующий день прихожу в контору, и меня узнает чиновник, которому я сдавал документы, он запомнил меня, потому что у него сын Ренато, а у меня — Ренат. И он неожиданно сообщает, что засунул мою папку случайно в нижний ящик стола, откуда бы ее никто никогда не извлек на свет божий, и мгновенно оформляет паспорт. И я еду, и в Риме на площади покупаю у голландских студентов за гроши старый «Фольксваген», и вижу, что первые буквы на нем «Ди» и «Джей» — традиционное изображение диск-жокея. И вот я приезжаю на этом «Фольксвагене» и получаю музыкальную передачу.

Я. Сева, вы говорите так, как будто это так просто, приехать и получить на Би-би-си передачу.

Сева. Я и говорю, что это мистика. Я начинаю делать пробные материалы, и человек, делавший передачу, обнаруживает богатого дядюшку в Калифорнии. И дядюшка ему говорит: что ты там гниешь на Би-би-си, приезжай ко мне, будешь торговать недвижимостью. И он уезжает. Здесь ведь никого не увольняют просто так, мы бы с ним до ста лет вместе делали передачу.

Вторую, немзыкальную передачу я предложил сам. Начальство пошло на колоссальный риск. Это был новый жанр, бесценарное радио, чистый импровиз. Они долго не верили, что русский может делать такую передачу, они же знают, что у нас без бумажки «здравствуйте» никто не может сказать. В общем, и сейчас

никто не верит, что вся передача делается моими двумя руками за час до выхода в эфир. Напряг, конечно, сильный, но у нас есть ангел-хранитель, тьфу, тьфу, тьфу, все концы совпадают с концами, все каким-то мистическим образом стыкуется. Я просто нахожусь в медитационном состоянии. У меня в принципе антижурналистский подход к делу. Все, что должно прийти, придет само. Они считают, что это чисто русский подход и он требует состояния полной открытости миру.

Я. Сева, как вы адаптировались к английской жизни, я вот, например, тут просто ничего не могу понять.

Сева. А кто вам сказал, что я адаптировался? Тот же оперный критик звонит мне третьего дня, он рассорился со своей подругой-англичанкой. «Старик, — говорит, — умоляю, найди мне любую женщину, женюсь на ком угодно. Ведомости не могу заполнить». Ведь каждое утро по почте приходят разные анкеты, и надо сообразить, что где писать. Жизнь здесь невероятно сложна на юридическом уровне, и среднему человеку нужно очень много знать. А русский с его безмерной верстой, с его неопределенным понятием времени, со словом, которое он дает, а потом берет обратно, выжить сам не может.

Уж как здесь ни обангличанился, как ни стал собранным, все же я без жены-англичанки часто бы оказывался полным котенком. Этот недостаток на бытово-юридическом уровне русскому человеку восполнить нечем. Здесь очень сложная структура общества, и нашими мозгами ее понять невозможно.

Я. А психологические стороны?

Сева. С моего флотского периода, когда я плавал за границу помощником капитана, у меня сложилось впечатление, что русскому человеку за границей жить не надо. Он будет всегда гражданином второго сорта потому, что теряет все свои языковые и культурные привычки и накопления, и восполнить все это невозможно. Это я и теперь говорю отсюда.

Я. Сева, а как привыкнуть к тому, что телефон платный, и вода, и отопление, что все время надо считать?

Сева. Я на это махнул рукой. Мы об этом не думаем. Я верю в метафизический принцип: пьющий воду — получает на воду, пьющий коньяк — получает на коньяк. Конечно, как я в России жил не по средствам, так я и здесь живу не по средствам, только в Москве я был должен друзьям, а здесь — банку.

Я. С кем вы общаетесь?

Сева. Масса приятелей, а друзей в нашем, русском, смысле нет. Друг у нас — это человек, к которому ты можешь прийти, чтобы пожаловаться, довериться, положиться. Здесь полагаться можно только на себя. Друг у друга здесь десятку не стреляют и даже сигарету. Люди, приходя в гости, занимаются чисто интеллектуальной стимуляцией друг друга.

Я. Сева, а на что вы живете?

Сева. Вообще-то я работаю как вол в тридцати областях. На Би-би-си, потом у нас с женой фирма, мы консультируем какие-то фильмы. Она — актриса, я — член профсоюза актеров, попадаю в какие-то их дела. Делаю адаптации сценариев. Люблю строить кварти-

ры. Вместо спорта, а ведь это безумная идея — бежать, обливаясь потом, или лупить ракеткой по мячу, я люблю выйти с утра с рубанком и строгать там какую-нибудь ногу для стула. У меня нет художественного таланта, и поэтому я выражаю себя через строительство. Меня, например, очень занимает, почему бетон, будучи жидкой, застывая, становится камнем. Я даже собираюсь написать об этом книжку. Все, что здесь есть, я построил сам.

Я. Англичане любят сами работать в своих домах, это я знаю.

Сева. Да. Это мы привыкли к дармовому труду, к тому, что придет дядя Вася и сделает все за трешку или тетя Даша будет на вас всю жизнь ишачить за чечевичную похлебку. Здесь — права человека. За починенный кран с вас слупят сорок фунтов. Кстати, я ведь ушел из штата Би-би-си, чтобы иметь свободное время, и если со мной, не дай бог, что случится, то я буду точь-в-точь таким, каким был в бытность свою эстрадным музыкантом: нет концерта — нет ставки.

Я. Можно себе позволить работать только журналистом, как наши?

Сева. Трудно. Только, если сидеть дома, как барсук. Но я не могу быть только журналистом. Мне неприятно, что я торгую своим происхождением. Что это за профессия — быть русским? Случись мне разругаться завтра с Би-би-си, кому я нужен? Я пытаюсь стать обыкновенным человеком, вот как столяр, плотник.

Я. Сева, а как насчет ностальгии?

Сева. Наша волна эмиграции уехала от совершенно невозможной жизни, мы уехали, чтобы никогда к

этому не возвращаться. Ностальгия, конечно, есть, но это скорее тоска по друзьям, по своему учебному заведению. Очень бы хотелось попасть в мою школу в Таллине. Я ведь кончил школу в Эстонии, это еще одна из причин, по которой мне в эмиграции легче, чем другим. Я вырос в эмиграции, в Эстонии русскому жить тяжелее, чем в Англии. Эстонцы такие, очень уж саксы. В среде англичан проще, особенно в среде шотландцев. Они очень похожи на русских, они даже пьют, как архангельские. Я разделяю людей на две категории по тому, как они пьют: одни относятся к рассудочным расам — они выпили, им уже хватит, я, к сожалению, такой. А вот шотландцы, татары и архангельские — чем больше пьют, тем больше хочется. Пока не упали — пьют.

Я. Сева, спасут ли Россию от пьянства повсеместно введенные пабы?

Сева. Конечно. Англию же спасли. Дозволенное питье не привлекает. Так же раньше было с поездками за границу: как выехал, так и остался. А теперь придет, посмотрит, понюхает и обратно. В Лондон последнее время приезжает масса народу, ни у кого не было особенного желания остаться. Я имею в виду яркую интеллигенцию; конечно, середняк-неудачник шизует от любой витрины, ему кажется, что беды не в нем, а в стране. Но он здесь тоже никому не нужен.

Я. Как живет театральная интеллигенция в Лондоне?

Сева. В Англии около 30 000 актеров. Работу из них имеют примерно 10 000, остальные перебиваются. В театр попадают по жесткому конкурсу, труппы

рождаются и распадаются на глазах. Уверенности в завтрашнем дне никакой, актер абсолютно бесправен. Конечно, у него развита профессиональная гибкость, нет чванства, но ведь и процент самоубийств в этой среде жуткий. Это принцип тот же, что и во всей капиталистической экономике.

Я. Я не верю, что психическая нестабильность может давать высокий профессионализм, а главное, что это можно оправдать с точки зрения нравственности. Кидать актера от режиссера к режиссеру — все равно что ребенку каждый день приводить новую няню.

Сева. Конечно, но ведь всякий национальный театр развивается в рамках национальной психологии. Вся русская культура, как и итальянская, семейно-психологическая. Как воспитание актеров, так и воспитание детей складывается здесь прямо противоположным образом. Нашего русского инфантилизма здесь нет, в восемнадцать лет человек уходит из дома, чтобы научиться на себя зарабатывать. Здесь четырнадцатилетний подросток вам подробно объяснит, почему он делает это, а не это. Он уже отвечает за собственные действия и собственное мировоззрение. Но зато и со стариками здесь никто не носит, здесь нет столь сентиментального отношения к родителям. Все это связано со старой колониальной психологией, когда ребенка с детства готовили к карьере в колонии. Видите, империи давно нет, а нация все еще носит форму.

Я. Вы считаете, что инфантилизм — первое определение нашего состояния умов и по сей день?

Сева. Нет. Все изменилось в СССР. Если поколение наших отцов было советским, наше поколение — антисоветским, то сегодня на арене появилось новое поколение — «асоветское». Оно советскую власть просто в упор не видит. Это поколение выросло в среде творческой молодежи, особенно в рок-музыке. Року я благодарен за то, что он, как жанр, как форма, дал возможность появиться поколению более свободному, чем мы. Я все время с чем-то боролся, а сегодня время начинать что-то строить. Раньше я был «врагом народа», «отщепенцем», у меня целая коробка вырезок из советских газет. На моих передачах масса людей в КГБ написала диссертации. Цитаты мои фигурировали как образчики подрывной работы в книгах всех советских обличителей. А теперь я же призываю начинать строить. И мне очень важно передать эстафету.

Я. Сева, по ту сторону вы были национальным героем, а здесь на Би-би-си?

Сева. Ой, лучше об этом не вспоминать. Все свои хохмы я протаскивал контрабандой. У меня была очень жестокая редакция. Я ведь привез с собой весь свой гастрольный опыт, весь фольклор, от которого англичане падали в обморок. Я долго их приучал. Но, как гласит английская поговорка: «Начинающий со скандала кончает жизнь институтом». Я вырос на джазовых передачах из Америки, на абстрактном символе свободы. Эту идею раскрепощения я пытался двинуть в своих передачах на шаг дальше. Все мои приколы были направлены на одно: высвободить подсознание. Недоверие к нашей академической советской наукообразности, когда любая простая мысль высказывается

профессионально-непонятным языком на двух страницах, то, чем и по сей день страдает наша критика, вызывает у меня жуткую злобу. Я пытался говорить со своими слушателями не простецким, а простым языком. И, кажется, мне это удавалось, у меня пудов пять писем-исповедей.

Я. Сева, что вы переводите из литературных произведений?

Сева. Сложный вопрос. Я не просто переводчик. Я как бы сижу на культурном заборе, на мне замыкаются оба потока. Я точно знаю, что переводить можно только общечеловеческие ценности. В России все идет на надрыве. Англичанам кажется, что мы каждую секунду переигрываем. Русская драматургия кончилась здесь на Чехове. Чехов им близок, потому что там есть вопрос о земле. У каждого англичанина есть сад, ему про это интересно. Или вот, например, плохой спектакль студии «Человек» про то, как пьют чинзано, имел успех в Шотландии, где каждый второй — пьяница. Это очень тонкое дело, поэтому я стараюсь не переводить, а адаптировать.

Я. Легко ли совместить русского с англичанином?

Сева. Невозможно. Русский совместим с американцем, итальянцем, французом, хотя француз уже хитрее и закрытее. Но с англичанином, с его клубной философией, с его рассудочностью... Русские люди — люди эмоционального подхода к жизни, чувственного решения. У англичан рассудок каждую минуту начеку. Пример: телевизионная передача, в новостях показывают человека, у которого погиб кто-то близкий, он рассказывает об обстоятельствах. В девяти случаях из

десяти этот человек считает, что плакать он не имеет права. Высшее проявление характера у англичан — остаться рассудочным вплоть до момента смерти. Они очень боятся быть похожими на людей.

Англичанин боится общего, хотите ему рассказать про океан — покажите каплю воды, остальное он домыслит сам. Здесь существует культура недосказанности. Если рассказываешь историю целиком, они ужасаются, прячутся в свою скорлупу и слушать не хотят. А наши привыкли рассказать все, да еще на пальцах объяснить, да еще громким голосом, да еще кулаком запихнут, если в горло не лезет.

Правда, у нас начали появляться люди, умеющие отсекал свои чувства. Здесь ведь как только ты повысил голос, ты уже не профессионал, ты уже существо второго сорта. А какому русскому хватит сил, проиграв спор, уйти с достойным лицом. Мы ведь ведем себя как дети, в основном. Вместо строгого папы и мамы у нас советская власть, КГБ, мы против них протестуем, ножкой бьем, кидаем книжки. А как только мы начнем отвечать за свои действия, модель поведения изменится. Я уезжал в 75-м году, тогда вся страна вместе с Брежневым говорила «сиськи-масиськи» вместо «систематически». Приезжаю в Италию, а там подойди к любому мусорщику на улице, и он на блестящем языке, не прерывая дыхания, начинает говорить длинными фразами так вольно и славно, что волосы на голове шевелятся. Так и льется: «Либерта, волонता...» Тогда меня это потрясло.

А сейчас смотрю иногда советское телевидение: старшее поколение выкает, мыкает, выходит сопляк и излагает с начала до конца, со всеми знаками

препинания и дыхание берет там, где точно. И так это радостно. В России ведь процесс исторический очень припозднился, крепостное право отменили только в 1861 году, значит, революцию делали дети и внуки крепостных, выросшие с привычкой к насилию. Вспомните, как Горького дед лупил розгой по субботам. Насилие было нормальной частью жизни. А здесь все было раньше, и голову отрубили раньше. Эти триста лет очень важны в культурном контексте. Конечно, теперь в России все пойдет быстрее, как у японцев, потому что есть готовые модели.

Я. Сева, в чем разница политических подходов русского и англичанина?

Сева. Посмотрите на английскую архитектуру, вы все поймете. Приватность во всем. Маленькое, дешевенькое, если средства позволяют, но лучше, конечно, на пятнадцати акрах с собственным озером и подъездом — но только свое. Чтоб ни с кем не нужно было жить вместе. Совершенно антикоммунальная культура. Посмотрите на русского: община, сходка, соборность, вече, колхоз и т. д. Мы привыкли жить коллективом. За счет этого у нас и чувство локтя и чувство юмора другие. Англичане в принципе друг другу не доверяют, чтоб стать приятелем англичанину, нужно очень много лет. С другой стороны, они очень терпимы, они обожают экзотику, тогда как русские в массе ненавидят чужака. В Лондоне чувствуешь себя гражданином мира.

Я. Сева, а если сравнивать Англию и Америку.

Сева. Америка также изолирована от мира психологически, как и мы. Ведь мир она воспринимает как «то, что не Америка». В этом смысле она как какая-

нибудь Омская область. У меня к Америке огромное предубеждение. На карте Америка вроде не такая большая, чуть больше нашей европейской части, но мы забываем о том, что Советский Союз на сорок процентов состоит из вечной мерзлоты. Там жить нельзя. Так что получается, что в Америке население поменьше, а жизненное пространство огромно и совершенно замкнуто на самое себя. А потом — молодая нация, чудовищно плохое образование, малоинтеллигентный стиль жизни.

Сегодня раскроются границы — и поперет наш русский безрюкзачный турист, такой котик промысловый. Народ наш изобретательный, очень импровизационный, вырос по методу холодного воспитания телят: куда ни поедешь — везде теплее. И публика наша образованная, особенно которая образованная. У нас ведь нет классического образования, зато есть техническое, и очень все соображают в электричестве, что вызывает в Англии огромный восторг. Здесь ведь все гуманитарии. До сих пор считается, что техническое образование — это для детей рабочих. Уважающий себя человек в инженеры не пойдет никогда. Идеал — это, конечно, адвокат, политик, человек, блестяще выражающий свои мысли, цитирующий, начитанный, сдержанный. По моей теории, наши технари должны местные пустоты и заполнить.

Я. Сева, ведь, говоря «мы, у нас, наше», вы ни разу не подразумевали Англию.

Сева. Конечно, я — английский гражданин и на верность присягал королеве, и паспорт, но сами понимаете... Русская эмиграция — это миф. Какие-то осколки первой волны, все эти Гагарины, Толстые, кото-

рые до сих пор сводят счеты. Звонит мне одна: «Знаете Толстых? Они везде ходят и говорят, что они — графы! Они — не графы вовсе!» А сама княгиня, хотя работала всю жизнь продавщицей, последний раз книжку читала пятьдесят лет тому назад. В общем, кукольный театр. Есть немного второй волны, целые районы украинцев на Севере, которые вообще не смешиваются: так и живут «вулочками». Таких, как я, — единицы. Что бы я делал, если бы не уехал? Я бы работал агентом инфлота, а в свободное время играл бы на саксофоне то, что я хочу. Я был бы, видимо, человеком несчастным. Так что я благодарен эмиграции за то, что она дала мне возможность заняться любительством в новой области, и этим любительством заниматься профессионально. Но это именно мой случай, и только мой.

Я. Сева, англичане имеют хобби как экологические ниши в напряженной холодной жизни, есть ли у вас хобби?

Сева. Одна известная балерина, сраженная русским обедом, приготовленным моей английской женой, уговорила мужа-миллионера, чтобы мы с Карен написали книгу о русской кухне. В результате вот у нас на компьютере лежит рукопись, скоро мы сдаем ее. Это, конечно, адаптация для местных условий, поэтому ее должна была писать англичанка. Здесь из-за разницы климатических условий и энергетической отдачи едят во много раз меньше — вы, наверное, это на себе почувствовали. Все наши рецепты и порции пришлось уменьшать и утоньшать.

Вот, например, приходит к нам в гости один профессор, мы ему подаем гречневую кашу в лучшем

виде, он застыл и говорит: «Это же корм для животных!»

А теперь, как специалист по кулинарии, я хочу произнести речь в защиту макарон. В нашей стране происходит чудовищное надругательство над макаронами, и я, как человек, живший в Италии и понявший макаронную культуру, хочу спасти ее от русской дискредитации. Сейчас много говорят об освобождении личности, демократизации, многопартийности, и никто не говорит о повышении качества жизни, а это на низово-бытовом уровне, на каждодневном понимании бытия — самое главное. Собственно, это — единственное, чего добился капитализм. А качество жизни складывается из мелочей.

Мы привыкли относиться к макаронам, как к чему-то, связанному с армейско-пионерско-лагерной столовой. Только в Италии я понял, как важно макароны не переваривать; это целое искусство, когда стоит повар и, сдвинув брови, пробует макароны. Готовые макароны как бы еще твердые, но уже мягкие; они сварены «альденте», то есть «на зубок», я не побоюсь бы сравнить их с грудью молодой женщины. Макароны в Италии варят от восьми до четырнадцати минут.

Макароны, вермишель — это все итальянские фамилии фабрикантов, придумавших свой сорт. Господа Макарони, Вермичелли, Фузили, Равиоли — создатели культуры под общим названием «паста». На моих глазах однажды произошло столкновение двух культур: культуры нашей, маннокашной-пионерской и «паста». Я наблюдал это, когда приехавший из Ленинграда эмигрант подрабатывал в местном ресторане на

мытьё посуды. Когда начался обед, ему принесли спагетти и спрашивают, какой тебе соус. Он говорит: мне этого не надо, дайте молочка и сахара. Залил все это молоком, посыпал сахаром и размял ложкой, а потом уплел на глазах у изумленных итальянцев. Клянусь вам, что остановились все рестораны на улице, потому что народ сбежался посмотреть на него, у некоторых в глазах стояли слезы жалости. Такого в Италии за двести пятьдесят лет производства макарон не видели.

Правильно сваренные макароны с обыкновенным маслом и тертым сыром поднимут качество жизни гораздо выше, чем вся бесформенная идейная сторона перестройки, и это касается не только макарон. Приятного аппетита!

Ночью Сева и Карен отвозили меня в Бекенхем, мы пытались позвонить из автомата, но каждый второй был использован как общественный туалет или сломан; все они были засыпаны визитками проституток с формулировками «Массаж с фантазией» или «Маникюр, вы не пожалеете!». Предлагаемое прямым текстом карается по закону.

— Успокойтесь, — сказал Сева. — К утру все телефоны вымоют с шампунем.

Ага, позлорадствовала я, значит, не «они у себя не пачкают», а просто «они у себя же и моют». Проблема московских улиц показалась мне разрешимой.

А уезжать, если честно, было не жалко. Даже детям захотелось в школу, при воспоминании о которой я до сих пор вздрагиваю. Конечно, грустно было расставаться с веселой Пниной и милым Рональдом, но так хотелось домой!..

Снова электричка, пароход, электричка; Саша ге-

ниально как-то договорился с соседним советским поездом, что мы в Варшаве на него перепрыгнем и за рубли доедем. Ведь в Берлине можно и месяц просидеть, отмечаясь. А уж когда попали в него, увидели столько возвращающихся русских, чуть ли не братание началось. Девушка из соседнего купе почти насильно стала рассказывать свою биографию.

— Бывшая актриса филармонии; ну, знаешь, что это такое: койка у сумасшедшей бабки, одноразовое питание, гроши, язва, плохое зрение и, чтоб на рубль больше заработать, надо со всеми переспать. И вдруг немец — богатый, вежливый, красивый. Думаю, шанс, встала на уши, отбила его у жены; конечно, он немолоденький, но еще ничего. Отвалила в Гамбург, вылечила язву, зубы, прооперировала глаза, живу. Чувствую, схожу с ума. Работы нет, общаться не с кем, он — робот, скупой как черт. Конфеты в вазе считал: сколько я сожру. Представляешь? Я взяла и закатила сцену, мол, все не так, жить так не могу. Знаешь, что он сделал? Молча выслушал, а потом начал бить. Знаешь, как бил? Долго, спокойно, как будто его этому учили, а ведь университет кончил. Я орала на весь Гамбург! Ты думаешь, кто-то вызвал полицию? Фиг. Я для них русская беженка. Через неделю, когда синяки сошли, иду в магазин, подходит соседка, улыбается: «Вы уже выздоровели?» Сука! Ты думаешь, он извинился? Нет. Он мне после этого купил кольцо, чтоб я на нем удавилась, наверное. Знаешь, я ведь сопьюсь так. Он к себе в спальню отваливает, а я достаю из-под кровати бутылку, лежу и вспоминаю свою жизнь в Союзе как сказку. Первый раз за три года к маме еду: денег не давал. Говорит: дорого. Это ему-то дорого, у

него знаешь сколько денег по нашим представлениям? Со мной в купе уголовник едет, боюсь до смерти. У меня ж валюта.

Уголовник, петушиного вида малый, возвращается из Польши.

— Ох, чувихи, — стонет он, — меня бы кто до Германии пустил, я бы оттуда Рокфеллером приехал. Я за валюту срок барабанил, а заграницы в глаза не видел. Польша — фуфло, одни церкви, ни с одной проституткой не договоришься!

Утром, почти еще ночью, ворвалась наша таможеня. Злая баба с головой, не мытой с детства, дико заорала:

— Встать! Выйти из купе!

— Можно я детей не буду поднимать? — попросила я.

— Встать, выйти из купе! Откуда я знаю, что вы там под дителями везете! — заорала она так, что дети просто свалились с полки. Основной шмон шел под матрасами, видимо, там должны были укрывать оружие, валюту и наркотики.

В соседнем купе таможенница цеплялась к пожилому человеку в пиджаке, увешанном орденами.

— Вы почему таким тоном со мной разговариваете? — выяснял он наивно.

— Потому что я на работе, а не по заграницам шляюсь, — орала она и, не найдя криминала, впилась в голландскую ветчину в целлофане, — мясные продукты только в количестве, съедаемом за дорогу!

— А я съем! — схватил он ветчину.

— Многовато будет. Инструкцию нарушаете. Сейчас акт составлять будем.

— Вы ее, наверное, сами хотите съесть? — предположил он.

— Нет, мы ее при вас уничтожим по инструкции, — оскалилась она и приступила к выполнению. До Москвы он бродил по вагону с криками:

— Всю войну до Берлина прошел! Хотел жене отвезти попробовать! Лучше б я на эти деньги шмотку купил!

Сам он до этого всю дорогу ел бурду из ресторана, а ветчину берег жене. Таможенница, конечно, не сунулась к валютчику, обинтованному пачками долларов и от этого неповоротливому, как комбайн: этот сюжет она не могла проглядеть набитым глазом, но сцена с ветчиной показалась ей более сладострастной.

Белорусский вокзал я чуть не облизала с ног до головы, как собака, давно не видевшая хозяина. В очереди перед такси стояли тетки с нашего поезда с прозрачными чемоданами, в плюшевых пиджаках и модных кроссовках.

— Почем чемоданы брали? — спросила я, дабы выяснить, откуда едут.

— По восемь.

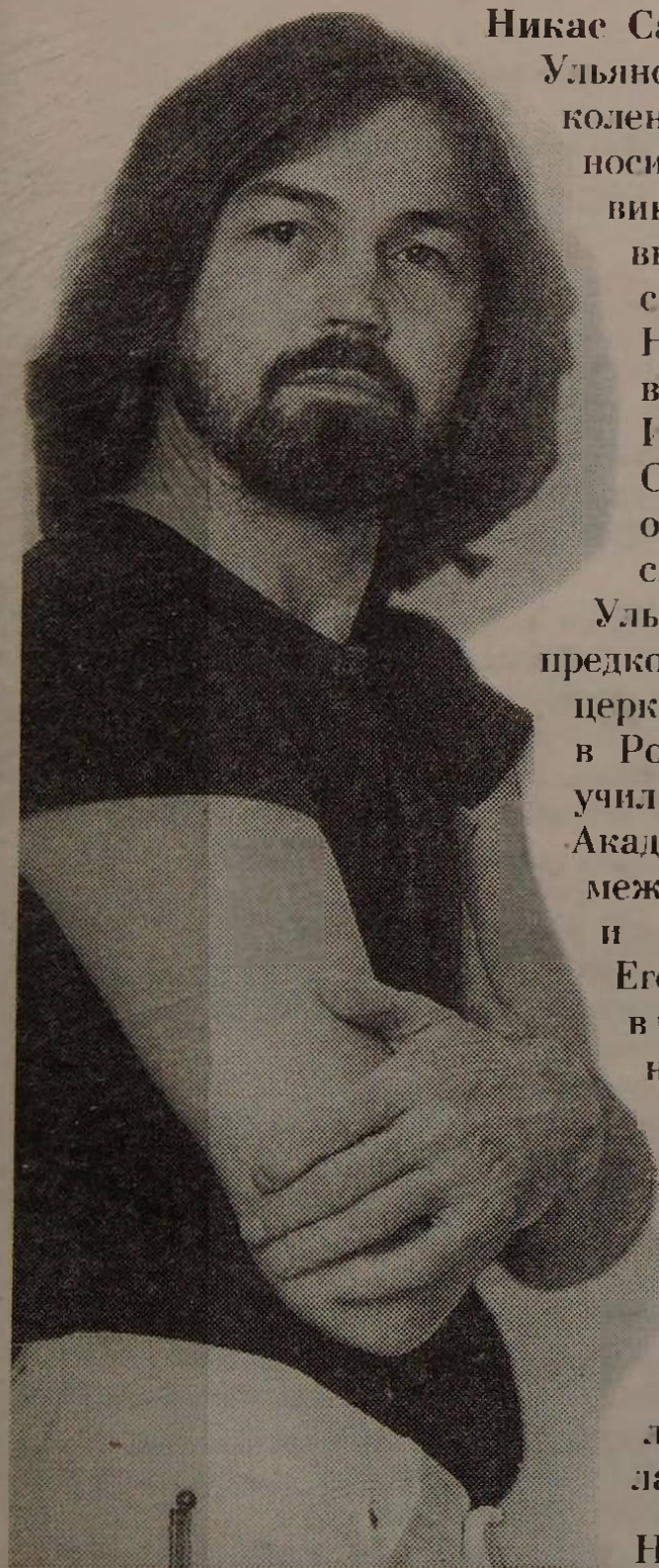
— Гульденов?

— Марков.

— Понравилось в Германии?

— Как тебе сказать, — насупилась одна, — есть шо надеть, шо покушать. Но у нас лучше. Я б там жить не смогла. Я б там враз сдохла.

— Я тоже, — призналась я.



Никас Сафронов родился в городе Ульяновске. Все предыдущие поколения рода Сафроновых относились к духовному сословию. Их исторические родовые корни прослеживаются с 1695 года, когда предок Никаса — священник церкви Преображения Господа Иисуса Христа Артемий Сафронов был одним из основателей города Симбирска. В настоящее время в Ульяновске в память своих предков Никас Сафронов строит церковь Святой Анны. Учился в Ростовском художественном училище и в Вильнюсской Академии Художеств. Участник международных, всесоюзных и персональных выставок. Его произведения находятся в частных коллекциях, крупнейших музеях мира. Академик Международной Академии Искусств, профессор Ульяновского университета, куратор и опекун специализированной школы № 65 с культурологическим уклоном г. Ульяновска (школа им. Никаса Сафронова).

Награжден:

- орденом Святого Станислава,
- орденом Святого Константина,
- орденом Святой Анны II степени.

В 2001 г. получил благодарность и золотые часы от Президента Российской Федерации В. В. Путина «За большой вклад в становление российской экономики, творческий подход и самоотдачу при исполнении заданий Правительства Российской Федерации, за успехи во благо Отечества».

Литературно-художественное издание

Арбатова Мария Ивановна
УРОКИ ЕВРОПЫ

Издано в авторской редакции

Ответственный редактор *И. Топоркова*
Художественный редактор *А. Новиков*
Технический редактор *В. Бардышева*
Компьютерная верстка *Е. Мельникова*
Корректор *Н. Борисова*

ЗАО «Издательство «ЭКСМО-Пресс». Изд. лиц. № 065377 от 22.08.97.
125190, Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корп. 16, подъезд 3.

Интернет/Home page — www.eksmo.ru

Электронная почта (E-mail) — info@eksmo.ru

**По вопросам размещения рекламы в книгах издательства «ЭКСМО»
обращаться в рекламное агентство «ЭКСМО». Тел. 234-38-00**

Книга — почтой: Книжный клуб «ЭКСМО»

101000, Москва, а/я 333. E-mail: bookclub@eksmo.ru

Оптовая торговля:

109472, Москва, ул. Академика Скрябина, д. 21, этаж 2

Тел./факс: (095) 378-84-74, 378-82-61, 745-89-16

E-mail: reception@eksmo-sale.ru

Мелкооптовая торговля:

117192, Москва, Мичуринский пр-т, д. 12/1.

Тел./факс: (095) 932-74-71



Сеть магазинов «Книжный Клуб СНАРК»
представляет самый широкий ассортимент книг
издательства «ЭКСМО».

Информация в Санкт-Петербурге по тел. 050.



Книжный магазин издательства «ЭКСМО»

Москва, ул. Маршала Бирюзова, 17 (рядом с м. «Октябрьское Поле»)

ООО «Медиа группа «ЛОГОС». 103051, Москва, Цветной бульвар, 30, стр. 2

Единая справочная служба: (095) 974-21-31. E-mail: mgl@logosgroup.ru
contact@logosgroup.ru

ООО «КИФ «ДАКС». Губернская книжная ярмарка.

М. о. г. Люберцы, ул. Волковская, 67.

т. 554-51-51 доб. 126, 554-30-02 доб. 126.

Подписано в печать с готовых диапозитивов 17.04.2002.

Формат 70×90 ¹/₃₂. Гарнитура «Бодони».

Печать офсетная. Бум. офс. Усл. печ. л. 4,68 + вкл.

Тираж 5100 экз. Заказ 6089

Отпечатано в полном соответствии
с качеством предоставленных диапозитивов
в ОАО «Можайский полиграфический комбинат».

143200, г. Можайск, ул. Мира, 93.



Мария Арбатова Мария Арбатова Мария Арбатова Мария Арбатова

Уроки Европы Уроки Европы Уроки Европы Уроки Европы



The New York Public Library
The Branch Libraries
DONNELL LIBRARY CENTER
WORLD LANGUAGE COLLECTION
20 West 53rd Street
New York, NY 10019

